

АЛТАЙ

1970

A 521 кр



А 5

Л
И
Е
А
П
Го
▲
715857
м

Электронная библиотека АКУНБ, eib.akunb.ru

1000-01-01



08.17

A 521 кр

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXIII

№ 2 (53) 1970



В НОМЕРЕ:

- * ПОВЕСТЬ НИКОЛАЯ ЧЕБАЕВСКОГО «КОЛДУНЯ»
- * НОВЫЕ СТИХИ ЛЕОНИДА МЕРЗЛИКИНА
- * РАССКАЗЫ ВИКТОРА ПОПОВА, ВИКТОРА СИДОРОВА, АЛЕКСАНДРА ТРЕСКОВА
- * ОЧЕРК О ДИРЕКТОРЕ ЗАВОДА



Фонд краеведения

71.58.1.3

сп.м.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

П. Бородин, Н. Дворцов, В. Дуюнов, И. Казанцев,
Л. Квин (редактор), В. Сидоров, В. Софронов, М. Юдалевич

Оформление художника В. Еврасова.
На обложке картина алтайского художника
Николая Чевалкова «Алтайцы на Телецком
озере». Масло. 1926.

Рукописи объемом до 1 авторского листа
не возвращаются.

В
явилс
—
С
нин, г
низки
Е
тушку
—

Николай ЧЕБАЕВСКИЙ

КОЛДУНЬЯ

ПОВЕСТЬ

ОТ АВТОРА

Сорок лет я прожил в селе Тогул. Там же жила активная участница борьбы за освобождение Алтая от колчаковщины Мария Чижова. Каратели схватили и казнили ее мужа, балтийского матроса, командира партизанского отряда, зверски убили ребенка. Тогда Мария тоже ушла в партизаны, стала разведчицей. Она бесстрашно сражалась за Советскую власть, беспощадно мстила белякам, и те прозвали ее «Страшной Марьей».

М. Чижова много рассказывала мне о себе. На основе этих рассказов я написал повесть. Но произведение все же не документальное, поэтому фамилии действующих лиц, названия сел и деревень изменены.

I.

В слякотную осеннюю пору, когда телеги вязнут в грязи по ступицы, явился в многодетную семью Безгубиных хуторянин Борщов.

— К тебе, Фома, за подмогой, — сказал он, поклонившись.

Отец Марьки глянул на Борщова с удивлением. Крепко жил хуторянин, по земле ходил твердо, голову носил высоко. А тут вдруг такой низкий поклон. Была бы еще страда, а то хлеб давно убран.

Еще больше удивило, когда Борщов кивнул на босоногую косматку Марьку.

— Не отдашь ли, Фома, малолетку в няньки?

— Марьку? В няньки? — озадаченно поскреб в затылке отец. — Так ведь сам сказал — малолетка она, пятый годок не сравнялся.

— Боле и ни к чему. Всего-то от нее требуется — с Алешкой чтоб игралась. Последышу моему три годика. Второму, Семке, десятый уж, в школу бегаёт, неохота да и некогда нянчиться. Степан мой, знаешь, оженился, а старуха лежит пластом.

Жену Борщова рановато еще было называть старухой. И сорока бабе не стукнуло. Но после рождения младшего стряслась с ней беда — отнялись руки—ноги. И хотя сострадания Борщиха не заслуживала — лютая была скопидомка — люди все-таки жалели бабу: тяжкая досталась больно доля.

Матвей тоже был известный выжига, только пооборотистее, половчее. Если в плате не прижмет, то в работе все, что можно и нельзя, из тебя вымотает. Но и он вызывал теперь сочувствие: попробуй-ка покрутись при больной жене с ребятами да с хозяйством!

Поэтому никого не удивило, что слишком рано, едва парню стукнуло семнадцать, женил он старшего сына. Понимали: дозарезу нужны в доме женские руки. Стряпать, стирать, коров доить, полы мыть.

Правда, потом в деревне прополз слухок, что Матвей принудил сноху к сожительству. А сын и не пикнул, будто уступил жену за мельницу. Верно, прыщеватый Степка и днюет и ночует там, пыжась от своей власти над помольцами-сельчанами. Ну, а где правда, где сплетни, — Безгубиным не было надобности выяснять.

Сейчас волновало одно: Марьку просили в няньки.

— Плату положу вровень с поденщицей, — сказал Борщов.

Это было вовсе диковинно. Таким крохам-нянькам, как Марька, испокон веку платили в деревнях гроши. Считай, жили за харчи да кое-какую немудрую одежку. А баба-поденщица на сенокосе, на жнитве ли, на обработке ли льна у любого сквалыги-хозяина зарабатывала вчетверо, впятеро больше, чем малолетка-нянька.

Отец с матерью переглянулись. Жалко было с таких малых лет отдавать дочку в люди, но и семья поддержку получала приметную.

— Больно уж девчушка мала — какая из нее нянька, — вздохнула мать.

— Так это грудного нянчить трудно, на руках надо таскать. А мой Алешка сам вовсю бегаёт. Только для догляду да для ребячьей компании и нужна. Ну, еще когда из-под старухи горшок вынести. Прямо скажу — молодайка брезговает.

Мать с отцом опять переглянулись. Так вот почему раскошелливается Борщов. Пожалуй, есть доля правды в людских пересудах. Будь Марька постарше, стоило бы остеречься посылать ее, но, к счастью, она еще слишком мала, чтоб разбираться в таких делах.

— По рукам, значитесь? — нетерпеливо сказал Борщов, заметив, какими взглядами перекидываются Безгубины.

— Как с одежкой, с обувкой? Тоже не мешало бы дотолковаться, — уже уступая, заметил отец.

— Одежка, обувка для такой шпингалетки — не разговор! — оживился хуторянин. — В однорядочку все справим — и будничное и праздничное.

— Ну, коли так... — перекрестилась мать. — С богом, Марька, иди к дядюшке.

Марька дичилась, жалась к матери, коричневыми, пережеванными в брюкве-паренке ручонками хватала за юбку.

— Не пужайся, не пужайся, дитятко! Я вот пряником тебя печатным угощу...

Борщов выгреб из кармана несколько пряников и горсть разноцветных леденцов. У Марьки загорелись глазенки. Но подойти к дяденьке она все равно не решалась. Тогда он сам подошел, высыпал гостинцы в подол ее застиранной кофточки. Как водится, выпили «магарыч».

Довольный Борщов за столом шутил, сыпал прибаутками. Отец с матерью, пропустив по чарочке, тоже улыбались. Марька совсем освоилась. Оделив братьев и сестренку гостинцами, она мигом сгрызла леденцы, но долго сосала один-единственный доставшийся ей пряник.

Завершился уход ее в няньки вовсе весело. На ногах у Марьки были сшитые матерью сыромятные обутки. Крестьянская эта обувь удобна в летнюю пору, легка, без жесткой подошвы, ноги не потеют, не устают. Но в осеннюю распутицу в таких обутках ходить — все равно, что грязь ковшом черпать.

Запрячь свою Рыжуху Безгубины не могли: ждали с часу на час жеребенка. А Борщов пришел пешком. На рабочих конях он отправил сына Степана в город с обозом, а выездного жеребчика берег пуще глаза. С шиком, по-барски прокатиться в коляске или на санках на зависть людям — это он любил. А месить грязь на рысаке — избави бог! Лучше на своих двоих, тем более напрямик через лесок до деревни близехонько.

Поэтому Борщов неожиданно предложил:

— Хочешь, верхом на себе прокачу? Ну-ну, хватайся за шею...

— Давай, давай, прокатись хоть разок на хозяине! — подбадривал захмелевший отец.

Мать посмеивалась, согласно кивала. И Марька, окончательно осмелев, уцепилась за плечи хуторянина.

Он подкинул ее повыше на спину, подхватил за ножонки.

— Ишь, как ловко оседлала! — произнес не то с похвалой, не то с насмешкой.

— Поехали!

Отец захохотал, братья и сестренки заскакали, закружились.

Так, верхом на хозяине, сопровождаемая шутками и смехом, отправилась Марька в люди.

Поначалу складывалось все, как обещал Борщов. Марька играла с Лешкой, кормила-поила парализованную хозяйку, выносила из-под нее горшки. Но через некоторое время хозяйка надумала использовать Марьку для слезки за мужем и снохой.

— Ты, маленькая моя, не видала ли ненароком, чего Фроська в пригоне околачивается? Долго ли четырех коров подоить, а она там вчера полдня пропадала, — спросила хозяйка Марьку вкрадчиво.

— Она не пропадала, она плакала! — доверчиво отозвалась девочка.

— Плакала? Чего ей убиваться, ежели живет как блин в масле?

— Дядя Матвей тоже ей говорил, — простодушно добавила Марька.

— Матвей? — скосила глаза паралитичка. — Он чего, он тоже в пригоне коров доил?

— Не-е, — прыснула Марька, — дядя Матвей только гладил Фроську по голове да уговаривал.

— А как он ее уговаривал?

— Говорил, что будет жить как блин в масле. Пусть чего хочет пожелает, он всегда исполнит. Дядя Матвей добрый, — похвалила Марька хозяина.

— Так-то-ся-я! — протянула хозяйка, и полуживое ее лицо сделалось совсем мертвым, посинело, как от удушья. — А еще чего они там говорили-делали?

— Ничего, тетя Дуся, больше ничего! — испугалась Марька. — Фроська плакать перестала, в кухню молоко понесла. А дядя Матвей ворота стал ладить.

— Истинно, как в поговорке: дом порушил, ворота поставил и замок повесил!

Какой был после у хозяйки разговор с хозяином и Фроськой, Марька не знала. Однако сразу начались крутые перемены. Назавтра Борщов поймал Марьку за косичку, сурово сказал:

— Ежели еще станешь подглядывать за Фроськой да Авдотье пересвистывать — я гляделки твои вместе с головой назад поверну. Запомни, на первый раз только прощаю, по неразумию твоему!

Потом, не обращая внимания на вопли и проклятия, которыми осыпала его хозяйка, уволок ее вместе с кроватью за печь. Там был полутемный закуток, где летом хранили тулупы, валенки и другие зимние вещи, а зимой, наоборот, летние — дождевики, сапоги и прочее.

— Чтоб поменьше зыркала — лежи тут!

— Покарает тебя господь, покарает! Вездесущ он, всеведущ! — стращала Авдотья.

— Не каркай! Тебя уж покарал — боле некуда. Знать, грешила пуще моего, коли я на своих топаю, а ты валяешься, как перепрелая стелька.

— Богохульник, сатана окаянный!

— Заткнись, говорю! Жрать, пить подавать, дерьмо из-под тебя выносить малолетку вот нанял — и хватит с тебя. Больше и сам господь-бог сделать меня не заставит!

Фроська с этого дня перестала точить слезы. Расхаживала по дому павой, нахально скалила зубы, форсисто вертелась перед свекром, когда подавала ему на стол.

Прыщеватый муженек ее Степан вовсе редко стал появляться с мельницы. А если и появлялся, Фроська не замечала его и еще бесстыднее выкобенивалась.

Марьку она возненавидела. Походя угощала подзатыльниками, еды не давала.

— Лопай то, что остается от твоей запечной ведьмы!

Ладно, хозяйка не могла похвалиться аппетитом, кое-что перепадало после нее. Да еще Лешка, баловень Матвея, делился гостинцами и таскал с отцовского стола то шаньги, то пироги.

С Лешкой они дружили. Самые хорошие, светлые часы были те, когда Матвей отпускал их по ягоды и по грибы. Тогда они объедались сочной, пахучей клубникой, отыскивая ее в траве по солнечным косограмм возле хутора, или шарились по реденькому березничку, наполняя корзинку прохладными маслятами и хрупкими волнушками, вперемешку с пучками кипрея и маральных кореньев, которыми лечилась Авдотья.

Матери Лешка сторонился. Когда она звала его к себе за печку, то всегда начинала плакать горячими слезами. Мальчонка тоже ревел в голос, а потом обходил закуток стороной, испуганно озираясь, словно за печью и впрямь жила ведьма, как говорила Фроська. Хотя, конечно, за ведьму Лешка мать не считал, но ее парализованные руки так давно не касались его, что он отвык от ласки, а изможденное лицо и слезы матери не вызывали жалости, а только пугали.

Семка теперь целыми зимами жил у родни в волостном селе — школа была там. Появлялся он дома лишь в каникулы, но в деревне было куда веселее, чем дома, и Семка с утра до вечера пропадал там с ребятами. Летом же отец часто забирал его с собой и на сенокос, и на пашню, и когда ехал на базар. Видно, исподволь приучал хозяйствовать, растил себе наследника. Старший сын не оправдал его надежд. Был жаден, но не сметлив умом. А младший казался слишком добрым,

не глянулась отцу щедрость, с которой он делился всем с Марькой. Зато Семка был что надо. Хитер, как бесенок, ловок и не любил зря выпускать из рук то, что ему попадало.

В общем, в доме хуторянина была у Марьки только одна близкая душа — Лешка.

Несколько лет прожила Марька в нянках-санитарках. И хоть год от году жить становилось тяжелее, все больше наваливалось работы на плечи — хозяйева заставляли теперь и полы мыть, и стирать, и печи топить, и за скотом ходить — да деться было некуда. Отец болел, матери приходилось туго. Не только Марька, но и остальные сестры жили теперь по нянькам, а брат батрачил у богатеев.

Все страшнее делалась Авдотья. В вечной полутьме за печью она иссыхала телом, лицо ее стало землистым, вроде даже плесенью начало подергиваться. Из-за печки постоянно несло теперь смрадом. Хозяйка уже не соображала, когда надо попросить горшок, то и дело приходилось убирать из-под нее.

Непонятно было, в чем и душа только у нее держалась. И непостижимость эта выводила из себя Фроську.

— Когда только господь избавит от такой пропастины! — заламывала она руки.

— Наказаньем вечным жить для тебя буду! — бормотала старуха мстительно. — Господь карает блудницу!

Тогда Фроська вскидывалась:

— Сатанинское, а не божье это наказание, вонючка поганая! И тебе, тебе, а не мне! Я-то захочу — плюну да разотру, уеду на мельницу к Степке. За пять верст вонь туда не донесет.

Однако никуда не уезжала. Срывала зло на Марьке, лупила ее, заставляла выволакивать, убирать, стирать все из-под старухи. Летом в телятнике, а зимой в предбаннике — подальше от избы.

Но всему приходит конец. Авдотья все же умерла. Марьку назавтра же после похорон Фроська вытурила из дому.

— Уматывай живо, чтоб духу твоего не было! Тоже вся провоняла мертвечиной!

Борщов, впрочем, Марьку окончательно не рассчитал. Он затеял еще одно прибыльное нововведение в хозяйстве — откорм свиней. Посадил Марьку на старую, уже малопригодную в работе на пашне кобыленку и послал свинопасом.

— Доглядай, чтоб свиньи по согре не разбрелись — и вся твоя забота. Буланка, знамо, не скакун, зато не растрясет. Свинью шугануть при случае пособит — боле от нее резвости не требуется.

Пастух в сибирском селе — человек, далеко не последний. Свинопас совсем другое дело. Свиней крестьяне округи держали в хозяйствах

мало, одну-две для собственного потребления. Свиное стадо для оброта впервые завел тут Борщов. И Марька оказалась первым свинопасом на деревне. И потому, что нововведения часто вызывают недоброжелательство, а скорей всего оттого, что свинью исстари считают «грязной» скотиной, деревенские ребята стали выказывать Марьке всяческое презрение. Идут мимо на рыбалку или за ягодой — уже издали кричат:

— Кобыла — лягучая, свинья — кусучая, Марька — ворючая!

Такие насмешки сыпались на девчонку ежедневно. Спасаясь от них, она подхлестывала кобыленку, скрывалась в кустах. Не удивительно, что сделалась она угрюмо-замкнутой, чуралась людей.

— Со свиньями жить лучше, чем с такими злюками! — повторяла Марька себе в утешение слова отца, сказанные им после перевода ее в свинопаски. Отец имел в виду, конечно, семью Борщовых. Но Марька относилась теперь это и к своим сверстникам и ко всем почти мужикам и бабам деревни.

Взаимное отчуждение резко усилилось, когда по деревне пронесся слух, будто угрюмая свинопаска — колдунья. Родился этот вымысел по смешному и ничуть не колдовскому поводу.

Кроме пастбы свиней в обязанность Марьки входило также следить за воротами поскотины, чтоб не оставил кто из проезжающих открытыми и скот не забрел на поля. Возле ворот стояла крохотная, вдвое меньше бани, с одним подслеповатым оконцем землянка. В ней спасалась Марька от непогоды. И если ехал кто побогаче, открывала и закрывала ворота. За услугу Марька никогда ничего не просила, не протягивала руку. Но если проезжающий кидал ей копейку, иногда и две, то поднимала и прибирала на сережки, давнюю свою мечту.

Шел девчонке уже четырнадцатый, и хоть чуралась она людей, однако частенько воображала, как явится однажды в деревню принаряженной не хуже других.

Как-то вечером, когда Марька загнала уже свиней в пригон и закрылась в своей землянке на засов, она услышала, что от ворот поскотины несутся странные звуки. Не то стон раздавался, не то приглушенные рыдания.

Ночами открывать землянку девчонка боялась. Украсть тут, ясно, было нечего, но вдруг ворвется какой охальник. Вообще-то с Марькой ночевал дед Петрован, дальний родственник Матвея Борщова. При нем имелась старая шомполка — обороняться от волков, ежели начнут рыскать вблизи пригона. Но дед больше недели уже не являлся на дежурство, заболел. И хотя шомполка осталась у Марьки и стреляла она из нее куда ловчее деда, все равно девчонке сделалось страшно.

Кто там стонет у ворот? Никто, вроде, не подвезжал, ни всхрапывающего конского, ни скрипа телеги не было слышно.

В оконце Марька смутно разглядела темную фигуру в светлом платке. Похоже, баба. Зачем она очутилась здесь одна поздним вечером? А если какое несчастье?

Вооружившись на случай чего худого шомполкой, Марька открыла засады. Засады не оказалось, в землянуху никто не ворвался. Марька высочила наружу, разглядела — у ворот и впрямь баба. Ухватилась за перекладины, почти висит, и стонет, подвывает всем нутром.

— Кто это?

— Ой, милушка!.. Ой, помоги, сердешная! — раздался в ответ вопль.

Цыганка! Сразу слышать поговору. Марька опешила. О цыганах она слышала много худого. Но если человек просит помощи — как отказать? Она подхватила женщину под мышки, повела к землянке. На всякий случай спросила еще:

— Ты одна-то почему здесь?

— Ох, одна-одинешенька! — простонала цыганка, не разъяняя почему, но как бы подтверждая, что опасаться ее нечего.

Кое-как Марька затащила цыганку в землянуху, уложила на топчан деда Петрована. Через час в землянухе у Марьки она родила.

Всю ночь Марька не спала. Топила печурку, грела в ведре воду, помогала цыганке обмыть, запеленать ребенка, привести в порядок себя. Под утро, немного оправившись, цыганка рассказала, что она скрылась из табора от мужа, который угрожал убить ее и новорожденного, если ребенок окажется не похожим на него.

— Вей, больно горячий мужик! Ежели такой махонькой — разве поймешь, на кого походит? Убьет, потом жалеть будет, да не вернешь. Вот и убегла, милушка. Поутихнет мужик, вернусь, покажу — его сын! А пока приюти меня, голубонька ясная, чтоб никто не увидел, не услышал...

И Марька укрыла цыганку. На день та запиралась в землянухе, а чтоб никто не задержался вблизи, Марька теперь всем, и богатым и бедным, загодя, только кто покажется на дороге, открывала ворота поскотины. На ночь вообще оставляла открытыми — коровы все равно ночью не шлеются, посевы не потравят, а коней ребята пасут в ночном далеко отсюда.

Дед все болел, и это было кстати. Осложнение возникло другое. От пережитых волнений, по другой ли какой причине у цыганки исчезло молоко. Для Марьки не составляло труда съездить за молоком в деревню. Но дома корова не доилась, ходила между молоком. Могла бы Марька и купить молока, не пожалела бы тех копеек, которые подкопила на серьги. Да и у цыганки, наверное, были какие-то деньги. Только такое «расточительство» сразу бы бросилось в глаза: что за неженка

стала свинопаска, захотела непременно молока, как будто не могла обойтись квасом?

Иного выхода, как тайком подоить чью-нибудь корову в поскотине, Марька не нашла.

Сделать это было нетрудно. Днем пастух распускал коров по воле, сгуртовывая только под вечер, когда предстояло гнать стадо в деревню. Зачастую коровы паслись чуть не вместе со свиньями.

Марька подглядела спокойную буренку с выменем, из сосков которого молоко само собой, от напора вытекало струйками. Такую и доить легко, и хозяева едва ли заметят, если надой станет поменьше. Кто определит, сколько потеряла, рассеяла она молока в поскотине?

Однако тут Марька ошиблась сильно. Корова принадлежала духовнику староверов Куприянову. Старуха его разливала каждый удой по глиняным горшочкам и, естественно, сразу недосчиталась одной криночки. Раз недосчиталась — ладно, случай. Второй — тоже. Бывает, сбавит корова надой, не вернешь. Однако на третий день, когда Марька подоила чью-то другую корову, число криночек опять прибавилось. На завтра — снова упало, потом опять подскочило. Эти скачки не на шутку обеспокоили суеверную старуху.

— Евдоким, а Евдокимушка, — сказала она Куприянову. — Корову-то, сдается, кто-то поддаивает!

— Окстись ты, Степанидушка!

— Я уж сколь разов окстилась — все едино молока нетуть прежнего, — продолжала старуха. — И не криночки мне жалко, а сдаивают — значит, не зря. Никак порчу напускают, молоко у нашей буренки хотят забрать. Знаю я, есть такие бабенки-стервы, колдовством ведают...

Тут обеспокоился и старик. Поклявшись как следует проучить «охальницу», он отправился в поскотину, стал, таясь в кустах, наблюдать за своей буренкой. И в первый же день заметил, как Марька с кувшином подсела под корову.

Не обратил внимания он на пустяк. Следом за Марькой брел в густой траве поросенок. Со скуки, чтоб как-то скрасить свое вечное одиночество, Марька обучила поросенка, как собачонку, таскать поноску, скакать через веревочку, бегать с ней наперегонки и разным другим «фокусам». Поросенок стал таким ручным, так привязался к Марьке, что не отставал от нее ни на шаг. Даже если она купалась в речке, он тоже плавал, не боялся никакой глубины.

Когда Марька подсела к корове, поросенок улегся в траву прямо за спиной девочки, почти у нее под подолом.

Старовер подкрадывался с великими предосторожностями, так, чтоб девочка не заметила. Ему удалось подобраться почти вплотную. Он уже приготовился к последнему броску. Мгновение — и жилистые руки

вцепились бы в Марьку. Но в этот миг Марька увидела под брюхом коровы босые мужские ноги. Она стремительно шмыгнула за куст калины. И когда старовер, обогнув коровий зад, коршуном кинулся на подкарауленную жертву, он сграбастал вместо девчонки поросенка.

Отчаянный, сверлящий душу пороссячий визг так оглушил, ошарашил Куприянова, что его на какое-то мгновение парализовало от страха. Своими глазами видел девчонку-свинопаску, как она кралась и усаживалась под корову, как стала ее сдаивать. А кинулся ловить — вдруг подмял под себя свинью! Девчонка растаяла, яко дым...

Превращение это было столь неожиданно, невероятно, что невольно явилась мысль о вмешательстве нечистой силы. Когда же перепуганный старик разжал руки и выпустил поросенка и тот, повизгивая, затрусил к землянухе возле ворот, — сомнений у кержака не осталось. Марька — колдунья! Он поймал ее, вырваться уже было нельзя — она и обернулась у него в руках в свинью!

— Сгинь, сгинь, сатана!

Часто крестясь, старовер поспешил домой поведать старухе о бешовских проделках свинопаски. Ему даже в голову не ударило, что Марька, притаившись за кустом, тоже помирала от страху, боясь, как бы старик ее не обнаружил.

В тот же день диковинная история, приключившаяся в поскотине с духовником староверов, стала достоянием всей деревни. И так как кержаки — люди трезвые, такая небылица не могла пригрезиться Куприянову спьяну, многие поверили, что Марька знает с нечистой силой.

2.

После родов цыганка долго не могла окрепнуть. Да и окрепнув, не спешила уходить.

— С малым-то дитем куда податься? — сказала она.

Потом объяснила, что табор на лето разбился, семья кочуют, где хотят, не скоро своих найдешь. Но был уговор осенью собраться всем на озере Уткуль, есть такое возле Бийска. К зиме цыгане намеревались по железной дороге перебраться куда-нибудь подальше, а куда — это уж таборный сбор решит.

— Тогда оставайся здесь, Руфа! — обрадовалась Марька.

Как всякий наскучавший в одиночестве человек, она быстро привязалась к Руфе. Даже убогая землянуха с появлением цыганки и ребенка, казалось, обрела по-настоящему жилой дух, стала будто и светлее и уютнее.

Матвей Борщов не раз наведывался, чтоб проверить, все ли в порядке в свином стаде. Но в землянуху не заглядывал. А дед Петрован,

явившись после нездоровья на ночное дежурство, вроде ничуть не удивился. Только и сказал: — А, так тут приبلудная овечка с ягненокками!

Когда же выслушал торопливый рассказ Марьки и просьбу не гнать цыганку, которой некуда деться, добавил:

— А чего мне гнать? Хоть судьба у цыган, погляжу, собачья, да душа, поди, человечья.

И хитро подмигнул девчонке:

— В тебе, слышал я, тоже ведьму признали. Так неужто и от тебя открещиваться?

— Спасибо, дедуня, хоть ты не чураешься! А то тяжко жить.

— Глупая! Приглядись-ка, многие только силу признают. Добрая сила, знамо, хороша. Но коль в тебе узрили хоть злую — все едино будет лучше. Не всяк решится обидеть.

Верно сказал Петрован. Землянуху многие стали обходить по возможности стороной. Через ворота поскотины проезжали побыстрее, медяки за услуги бросали щедрее. И то, что у Марьки поселилась цыганка — это лишь добавляло таинственности.

Хотя на первых порах Руфа не показывалась на глаза людям, все равно вскоре вся Сарбинка знала, кто обитает у ворот поскотины. И цыганка перестала таиться, иногда ходила по окрестным деревням, гадала, зарабатывала этим всякую провизию. Изредка случалось даже, что баба или девка по срочной надобности «приворожить» разлюбезного муженька или парня сами прокрадывались в землянуху. Но настороженность по отношению к Марьке ничуть от этого не уменьшалась. Наоборот, кто-то углядел, что будто именно Марька варит цыганке «приворотное» зелье, кто-то разнес слух, что якобы прилетала к ней «вещая» птица, которая говорит человеческим голосом.

А птица эта была обыкновенным вороненком, которого нашла Марька с подбитым крылом в березняке. Руфа же забавы ради научила его хрипло выкрикивать два слова: «Марка вед-ма!». И «зелье» Марькино было самым простым настоем подорожника, употребившимся дедом Петрованом от «бурчания» в животе. Да только уж если прилипнет к человеку какая напраслина, так потом легко приклеивается и другая и третья.

Осенью Руфа уехала в табор с какой-то цыганской семьей, державшей путь мимо землянухи. Но за Марькой навсегда осталась слава колдуньи. И жить от этого, как предсказывал дед Петрован, стало и легче и труднее. Легче потому, что даже мальчишки не смели теперь дразнить Марьку. Боялись, как бы она не посадила им типун на язык, килу или какую-нибудь иную «ведьмину» штучку. А труднее оттого, что сама Марька очутилась словно в заколдованном кругу, через который не в силах была выйти к людям.

Даже зимой, когда Борщов отправлял свиней под закол и Марька возвращалась в деревню, в положении ее мало что менялось. Собираясь на посиделки, молодежь не приглашала ее к себе. Многие парни и девчата, наслушавшись суеверных рассказов, в самом деле опасались колдовства, порчи. Другие не хотели знаться с «гольтепой». А третьих отпугивала замкнутость Марьки, ее диковатый, настороженный взгляд.

Сама Марька тоже не стремилась сблизиться с парнями и девками, войти в их беззаботную компанию. Гордость не позволяла ей доказывать, что на нее возвели напраслину. Она предпочитала сидеть дома за прялкой или уходила с дедом Петрованом на охоту. Петрован купил себе берданку, а ей отдал шомполку. Старая шомполка, в которую заряд пороха и дроби насыпался через дуло, а пыж в этом дуле, кроме того, надо было уплотнить тонким черемуховым прутом, не позволяла промахиваться. Промахнулся — второй раз скоро не выстрелишь. Но рука у Марьки оказалась твердая, глаз верный. Ни лиса, ни куница, ни глухарь, ни косач не уходили от нее. А когда Марька однажды первым выстрелом сразила вымахнувшую из подлеска рысь, Петрован отдал ей свою берданку, а себе взял шомполку.

— Ты подобычливее, половчее меня стрелок — тебе и берданку носить. А мне уж, видно, на печь пора.

На печь Петрован, правда, не забрался, по-прежнему ходил с Марькой на охоту. «За кумпанию», как он говорил. Только не стрелял теперь, а ставил капканы, плашки, силки.

Зато Марька стреляла уже за двоих, по-прежнему не зная промахов. Берданка — это не шомполка. Тут выстрелил, щелкнул затвором, выбросил пустую гильзу, вогнал новый патрон — и стреляй снова. И все мигом. Раз, два, три — пли!

Так жила Марька до семнадцати лет.

3.

В ту зиму в Сарбинке все словно помешались на одном увлечении — катании с гор на лотках.

Лоток — сооружение нехитрое. Берется толстая доска или плаха. Одна сторона обмазывается коровьим пометом, затем обливается на морозе водой — и садись, катись с любой горки. И если горка невелика, где-нибудь под окном дома, то скатиться с нее тоже не надо мастерства. Ребятишки так и катались. Но когда сделан лоток из целой половой плахи, усаживаются на него человек восемь—десять и мчатся с большой горы, а скорость бешено нарастает и становится такой, что ветер свистит в ушах, — тут рулевому нужно и хладнокровие и умение.

Рулевых двое. Один сидит впереди всех с толстой и упругой че-

ремуховой палкой в руках. То на одну сторону ее перекинет, то на другую; то одним, то другим концом, как веслом, направит движение или притормозит. Ошибись немножко, прижми палку посильнее или воткни ненароком в снег — лоток на большой скорости развернется, люди разлетятся, как горох. Могут переломать и руки и ноги.

Для помощи первому рулевому сзади всех сидит с такой же палкой второй. Задача его — выручать товарища в трудные моменты. Ему тоже требуются сноровка и выдержка. Ошибись или не успеешь вовремя «срулить» — аварии не миновать.

Поэтому рулевыми были всегда самые сильные, ловкие, бесстрашные парни. А самым лихим, удачливым считался Иван Федотов. Рослый, обладавший недюжинной силой, но не медлительный, как многие силачи, а наоборот, быстрый в движениях, ладный собой, Иван вообще выделялся среди парней.

Жили Федотовы небогато. Хозяин вернулся с турецкой без ноги. Ходил на деревяшке, летом клал печи, зимой сапожничал, шорничал. Но пахать, сеять, скотину держать, корм для нее заготовлять мужику было трудно. А много ли могла сделать в поле баба с парнишкой. Поэтому и числились Федотовы среди тех, у кого во дворе коровенка да лошаденка, а хлеба в амбаре лишь до нови.

Однако мальчишка подрастал, становился видным парнем. И девки стали заглядываться на него. И собой хорош, и вообще жених выгодный. Один сын у родителей, хозяйство делить не надо, а старики не обуза. Солдат сам себя и старуху своим ремеслом до смерти прокормит.

С Иваном Федотовым и столкнула судьба Марьку. Именно столкнула.

Иван мчался на лотке с компанией парней и девчат по склону Длинного клина — так назывался высокий холм, по которому лепились бедняцкие окраинные избы. Самый крутой уклон был в переулке возле подворья Безгубиных. Лотки брали тут стремительный разгон, мчались до реки, затем по льду катились почти до другого конца Сарбинки. Там стоило лишь подняться на косогор напротив деревни — и можно было лететь обратно до самого Длинного клина.

По переулку люди ходили с опаской, чтоб ненароком не сбили лотком.

Марька тоже знала, что надо тут смотреть в оба. Но как-то забылась, задумалась — не успела отскочить. Лоток ударил ее под ноги, она упала прямо на колени Ивану, сидевшему, как обычно, на месте первого рулевого, с перепугу охватила парня за шею.

Лоток, заторможенный вторым рулевым, уже остановился, а Марька все никак не могла прийти в себя, все сидела на коленях у Ивана, обнимая его.

Опомнилась она лишь тогда, когда парни и девки принялись смеяться, донимать ее шутками.

— Гляди-кось, как она к Ванюхе прицепилась!

— Покрепче репья!

— А чего! Шепнет вот слово приворожное на ухо — и конец парню!

Это был уже прямой намек на Марькино колдовство. Побелевшая от испуга, она разом вспыхнула ягодой-малиной. Рванулась, хотела вскочить на ноги.

Теперь удержал ее за плечи Иван.

К шуткам парней и девок он не прислушивался, намекам не придал никакого значения. В семье солдата не больно верили во всякую чертовщину.

Просто он никогда раньше не замечал Марьки, а тут вдруг, вплотную увидев ее широко распахнутые глаза, поразился их густой синеве. А когда Марька вспыхнула жарким румянцем, он обнаружил еще и то, что девчонка она приглядная.

Марька, откровенно говоря, не могла похвастаться ни особо правильными чертами лица, ни точеным носом, ни перламутровыми зубами. Была она скуластенькой, со вздернутым чуточку носом, на щеках уже с февраля высыпали мелкие крапинки веснушек. Но раскрасневшаяся девушка показалась парню необыкновенно привлекательной. На душе сделалось сразу тепло-тепло.

— Шептать ничего тут не надо. Я и так чую — сама долюшка на колени ко мне примостилась! — сказал Иван, прижимая Марьку к себе.

Все громко засмеялись, восприняв слова парня как шутку. Марька запунцовела еще больше, вырвалась из рук Ивана, убежала. В растерянности она сбилась с тропки и бежала напрямик по снежной целине. Иван, глядя ей вслед, тоже весело рассмеялся. А ребята и девки опять стали сыпать шуточками.

— Ей дорога теперь не нужна вовсе. Она приметя свою тропочку топтать к Ивановым воротам.

— А может, наоборот? Вдруг Ванюха почнет торить ту стежку, что обозначилась вон за Марьей.

Шутки — шутками. Только и на самом деле почти так получилось.

Через несколько дней после этого Марька пошла на охоту. Надо было проверить капканы, поставленные с дедом Петрованом на волков. Дед занедужил, и Марька решила сходить одна. Начинало пуржить, а если волк попался и уволок капкан за собой вместе с потаском — после метели не найдешь, следа не останется.

Надела Марька широкие, подбитые шкурой лыжи, перекинула берданку через плечо и рано утречком тронулась в путь.

Уследил ее Иван. Только Марька вышла за деревню — догнал.

Сарбинка лежала недалеко от черни, как здесь звали темные глухие пихтачи и ельники в отличие от светлых смешанных лесов, где есть и шумливая осина, играющая листвой даже от легкого ветерка, и белоствольная береза, и пахучая черемуха, и увешанная красными гроздьями нарядная рябина.

Охотой мужики занимались мало, считали это вроде баловства. Потому, наверное, что летом главным занятием была работа на пашне, на сенокосе, а зимой, кроме ухода за скотом, одни бондарили, другие ладили сани, дуги, лопаты, третьи заготавливали пихтовую ветку, гнали из нее масло. А на охоту ходили только в свободное время да когда донимали волки.

Правда, по осени часто палили по уткам ребята-подростки. Но когда достигали жениховского возраста, начинали подражать солидным мужикам и уже не торопились зоревать на озеро, протоки и ляги. Девки же, те и вовсе не баловались с ружьем, поскольку всякое баловство им от роду не положено.

Иван прежде, случалось, как все парни-женихи, насмешничал над Марькой, если попадетсЯ где-то навстречу с ружьем.

Теперь Иван сказал:

— Дозволь с тобой.

В голосе не слышалось насмешки, наоборот, прозвучала почтительность, вроде спрашивал разрешения проводить с вечорки до дому.

Марька переспросила удивленно:

— Со мной? Я ж капканы осматривать.

— Ну и я...

— Ты разве тоже ставил?

— Нет, с тобой хочу. Буран, вишь, начинается, двоим-то веселей.

Девке отправиться вдвоем с парнем на охоту — неслыханное дело! Пересудов потом не оберешься, найдутся охальники, могут и ворота дегтем вымазать. Марька решительно воспротивилась:

— Капканы проверять — веселья не требуется. И бурана я не боюсь.

— Гонишь, стало быть, — произнес Иван. И опять без усмешки, с которой парни обычно встречают отказ: «Хе, дескать, не больно и нуждаюсь!» — Только зря ты так. Худого я тебе не сделаю.

— Я и не боюсь, — усмехнулась Марька, — тебе-то, поди, больше боязно.

— С чего это?

— Колдуньей же меня считают.

— Трепсгня! Какую-нибудь порчу на меня напускать не за что, раз зла я тебе не сделал. А к себе приворожишь — так я с охотой согласный!



Капканы проверять с Иваном Марька все-таки не пошла. Но ей было приятно, что парень не чурается ее, приятно стоять с ним на взгорке, на виду у всей деревни.

Назавтра Иван явился к дому Марьки с шумной ватагой парней и девок. Девки по его просьбе вызвали, чуть не силком выволокли Марьку кататься.

На этот раз Иван сел на место заднего рулевого, и девки опять усадили запунцовевшую Марьку ему на колени. И так как при катании на лотках не принято усаживаться где попало, ибо каждый чувствует себя увереннее на привычном месте, то это место сразу как бы закрепилось за Иваном и Марькой.

Едва ли у кого-нибудь бывает унылое настроение, когда он мчится с горы на лотке. Марьку же буквально охватило восторгом от вихревой скорости, от свиста ветра в ушах. И уж совсем пьянела она, когда на ухабах или крутых поворотах девки взвизгивали, а Иван наклонялся к ней и весело спрашивал:

— Страшно, небось?

Нет, ей не было страшно. Наоборот, она испытывала радостное чувство освобождения, будто не на лотке мчалась, а птицей, вырвавшейся из клетки, летела на вольный простор. Хоть жизнь у Марьки и сложилась так, что с детства довелось познать отчужденность, однако по натуре она не была бирюком. Впервые это проявилось, когда в землянке у ворот поскутины поселилась цыганка. Руфа знала великое множество песен, тихонько напевала их с утра до вечера. Марька сначала только слушала, запоминала, а однажды осмелилась, подхватила знаковый мотив.

— Ой, милочка, голосок-то у тебя чистый, как ключевая водичка!— обрадовалась цыганка.

С тех пор вечерами они часто пели вместе. Поначалу тихонько, опасливо, а позднее, когда цыганка решила больше не таиться, заливались до полуночи в полный голос.

— А и вправду, вроде как родник открылся. Будто каменюкой был придавлен, а струнули этот камень — он и заструился, — согласился с цыганкой дед Петрован.

Руфа дала Марьке и первые уроки плясок. Как-то лунным вечером, когда дед Петрован остался нянчиться с ребенком, а они пошли на озеро полоскать бельишко, цыганка вдруг закружила Марьку вокруг себя, крикнула подзадоривающе:

— А ну-ка, покажи, легка ли ты на ногу!

Марька, конечно, показать ничего не могла. Тогда цыганка стала отплясывать перед ней сама. И тут Марька оказалась переимчивой, все схватывала на лету. До осени она научилась у Руфы многому. А потом

и зимой, когда жила дома, и летом, приходя в деревню на праздники, Марька всегда втайне приглядывалась, как пляшут бабы и девки.

Но если с помощью Руфы камень, придавивший Марькину натуре, только сдвинулся с места, то теперь Иван будто отшвырнул его прочь. Марька решительно переменилась. Угрюмая замкнутость окончательно исчезла с ее лица, вся она словно засветилась, расцвела. И уже не отсиживалась дома, а ходила на вечеринки, на посиделки. И открылась в ней такая певунья, плясунья, что парни и девки лишь диву давались — откуда это взялось? Теперь не один Иван, а и другие парни стали заглядывать на нее, стремились показать себя песней, пляской или острым словцом.

Иван только усмехался. Он видел: Марька никого не замечает, кроме него. Впрочем, и она знала: глаза Ивана следят лишь за ней.

Долгая сибирская зима промелькнула для них быстро. Настало лето. Марька опять сторожила у ворот поскотины, пасла свиней. Но одиночества уже не было, весь мир казался светлым и приветливым. По весне Иван сказал Марьке, что к покрову придет сватов. На лето он нанялся на золотые прииски, которые находились в тайге, верстах в тридцати от Сарбинки. Решил подзаработать на свадьбу. И дом отцовский требовалось выновить, сделать пристройку. Свое же хозяйство, когда во дворе стояли только корова да лошадь, доходу не приносило.

Впрочем, одиночества не испытывала нынче Марька не только потому, что жила ожиданием свадьбы. Каждое воскресенье Иван появлялся у землянухи. Иногда приезжал на попутных подводах, направлявшихся в волость на базар, а чаще приходил пешком.

— Для милого дружка, говорят, семь верст — не околица, — шутил он. — А для милой и тридцать взад — вперед пробежать — весело!

4.

Однажды, в страду уже, на дороге у землянухи показался беговой ходок — с тонкими, сверкающими черным лаком спицами колес, с медными блестящими втулками. Пестерек был сплетен из разноцветных прутьев — белых, ошкуренных, зеленых тальниковых и темно-коричневых черемуховых. В оглоблях, под расписной дугой шел, а вернее гарцевал, приплясывал тонконогий, весь в яблоках, серый жеребчик.

Дорога за воротами спускалась с крутой горки. Молоденький жеребчик плохо слушался вожжей, чересчур разогнался под уклон, и седок уже напрасно пытался сдержать его.

Марька не успела во всю ширь распахнуть ворота. Заднее колесо задело за них втулкой, ходок резко трянуло, подбросило. Передняя ось соскочила с курка.

Если бы седок бросил вожжи, он остался бы в ходке. Но, сдерживая рысака, он намотал вожжи на кулаки, и теперь его мигом выдернуло из пестерька. Он не грохнулся пластом на землю, как-то изловчился вскочить на ось передка. Стоя балансируя на ней, попытался осадить коня. Тот, однако, рванулся в сторону, передок снова подбросило на колдобине, и ловкач сорвался с оси. Да не просто сорвался, а шмякнулся задом о землю, ноги же, удержавшись на передке, задрались вверх.

Вышло потешно: ездок, крепко держась за вожжи, сидел на дороге, а конь тащил его так, что пыль вилась у него из-под зада.

Марька сначала перепугалась, а потом расхохоталась: такое не часто увидишь. Еще больше разобрал Марьку смех, когда ездуку удалось остановить рысака, и он вернулся к ходку, прикрывая ладонью порванные штаны. Особенно потешным показалось Марьке это приключение еще и потому, что незадачливым ездоком оказался Семка Борщов.

Семка был теперь у Матвея Борщова в особой чести. С годами окончательно определилось, что старший и младший сыновья не удались. Степан, которому едва стукнуло тридцать, уже сильно облысел, обрюзг, лицо его ничего не выражало, кроме сытой тупости, взгляд был покорно-ленивый. Он ничем не интересовался, кроме мельницы, там сидел безвылазно и, кажется, пропитался мучным бусом насквозь. Младший, Лешка, был еще подросток, но главное в нем определилось. В хозяйство он вовсе не хотел вникать, считался в семье вроде блаженного. Лешка помешался на стихах. Складывал, бормотал их всюду, везде и обо всем, что видел вокруг. Началось с того, что школьный учитель подметил, как мальчишка легко запоминает поэтическое слово, чуток к образной его силе. Он похвалил мальчишку, стал развивать в нем эту способность. Через три года учитель, отбывавший в волостном селе ссылку, уехал. Но пристрастие к стихам у Лешки осталось навсегда. И также навсегда обрел он отцовское неодобрение.

Зато Семка был парень хват. На язык бойкий, умом цепкий, оборотистый, предприимчивый. Хоть на семь лет моложе Степана, но давно уже во всем подсоблял отцу. Порой подсказывал такую коммерцию, что отцу она в голову не приходила. По совету Семки, например, Матвей не стал увеличивать количество скота во дворе, а завел маслбойку, пимокатку, кожевенное производство, поставил в тайге перегонку, чтоб гнать лихтовое масло и деготь. Рабочих нанимал сезонных, по дешевке, из переселенческой гольтьбы, которая рада была и сухому куску хлеба. В результате борщовский капитал резко увеличился, а в Семке Матвей бесповоротно признал единственного преемника.

Наружностью парень тоже не подкачал. Невысокий, но статный,

лицо приятной смуглоты, глаза ярко-карие, озорные, нос тонкий, с легкой горбинкой. А щеголеватые моляные усы придавали Семке вид бравый.

Со свертниками держался он надменно, особу свою, что называется, ставил высоко. Он и теперь постарался прошагать мимо Марьки горделиво, вскинув голову. Но от этого Марька еще сильнее взорвалась смехом. Она ничего не могла поделать с собой, смех буквально разрывал ее.

Семку-Красавчика, как прозвали его в деревне, уязвило. Он остановился, возмущенно повернулся к Марьке.

— Нашла потеху — не помри со смеху!

— Ой, впрямь помру! Ой, уезжай, ради бога, поскорей!

Но Семен не торопился. Он держал под уздцы беспокойно пофыркивающего жеребчика, в упор смотрел на девушку. И выражение его глаз все время менялось. Сначала они были сердитыми, затем стали удивленными, словно разглядел он в Марьке что-то такое, чего никак не предполагал. Наконец взгляд сделался оценивающим, беззастенчиво обшаривающим.

Под этим взглядом Марька сразу притихла, смех как рукой сняло.

— Давненько я тебя не выдывал. Экая ты выладилась!

Семен покрутил усы, подмигнул Марьке и пошел к ходуку. Сцепил оси, уехал, не сказав ничего больше, но заронил какую-то непонятную тревогу.

Через день Семка вновь появился у ворот поскутины. Привез два мешка пшеницы, велел Марьке согнать свиней в загон на подкормку.

Марька удивилась. Летом свиней никогда не подкармливали. Они довольствовались травой и разными кореньями, какие выкапывали на луговине. Лишь глубокой осенью, когда трава пожухала, дед Петрован раз в день привозил на телеге несколько мешков отходов. Вместе с Марькой они прямо с телеги, поскольку иначе им было непосильно, рассыпали отходы кучками по загону. И только когда начинались заморозки, свиней ставили на полный откорм. Перегоняли в пригоны на борщовском хуторе, там бабы-поденщицы варили для них картошку, разводили болтушку из мучного буса, в течение года запасенного Степкой на мельнице. И недели за три-четыре свиньи наращивали сало. Потом Борщов нанимал мужиков, и все стадо, кроме нескольких маток, шло под закол. По заморозкам туши оптом сбывались на прииски (потому Матвей и занялся свиноводством, что рядом был надежный покупатель) или обозом отправлялись в город.

Удивительно было и то, что зерно привез не дед Петрован, а Семка. Да еще не на рабочей лошади, а на выездном жеребчике. И вырядился, будто на ярмарку ехал, — рубаха шелковая, пояс с кистями, штаны суконные, сапоги хромовые.

— Хочу пересчитать, сколь голов в стаде, — объяснил Семка, заметив Марькино недоумение.

— А чего пересчитывать? Сколь есть — столько и будет. Ни разу еще ни одной вашей свиньи не потерялось! — с обидой сказала Марька.

— Ну-ну, губки не поджимай! Не к чему обижаться, деньги счет любят, а свиньи — те же деньги.

— Считаю, дело хозяйское. Но свиней только раз подкорми — потом не рад будешь. Все время возле загона станут кружить, пастись заленятся.

— Тогда ладно, обойдемся без подкормки. И так пересчитаю. — Семка привязал жеребчика к пряслу. — Пойдем, покажи, где сейчас стадо.

В полуденную жару свиньи, как обычно, отлеживались в сырой низинке под тальниковыми кустами. Низинка эта была под косогором не-вдалеке от землянухи. Семка без труда нашел бы дорогу туда и один. И Марьке не хотелось идти с ним, она спасалась, как бы Семка не попытался облапать ее среди кустов. Но и отказать не решалась — все же хозяин. Да и на уме у него ничего такого нет.

— Я тогда верхом! — сказала Марька. — Верхом-то лучше свиней среди кустов видать.

— Вот еще! — возразил Семка. — Ты верхом, так и мне, что ли, жеребца распрягать? Оставь свою кобылешку, пусть пасется.

Делать было нечего. Марька пошла с Семкой к низине в надежде, что если он и задумал худое, так все же не посмеет кинуться на нее средь бела дня: проезжая-то дорога рядом.

Но Семка не нахальничал. Он долго считал и пересчитывал свиней, умышленно сбивался, начинал снова, сыпал шуточками, подкручивал усики, угощал Марьку леденцами. Нетрудно было догадаться, что свиньи мало интересовали его. Куда больше ему хотелось покрасоваться собой, привлечь внимание девки.

Два дня спустя Семка приехал опять. На этот раз он привез на телеге осинового колья. И сам был одет по-будничному.

— Городьбу-то загона ветром шатает, — сказал он Марьке. — Надо укрелить, пока не свалилась.

Он принялся ставить колья, а Марьке велел связывать их тальниковыми переплетками. И опять зубоскалил без устали, пытался всячески заигрывать с ней.

Потом ему понадобилось заменить Марькину лошадь.

— Твоя кобыленка только на шкуродерню годится! — объявил он. — Батька послал вот Гнедка. Этот все же порезвее. Ежели какая проклятущая свинья вздумает от стада отбиться, поскорее догонишь.

Марька, конечно, понимала, что Семка не зря зачастил к землянухе.

Он явно вознамерился «приударить» за ней. Но пока он находил «заделье», как называли это в Сарбинке, она не имела возможности указать ему от ворот поворот. Лишь когда Семка заявился с подарком — хотел вручить ей серьги — она прямо сказала, чтоб он понапрасну не старался. У нее есть жених, на покров Иван вернется с присков и будет свадьба.

Семка сначала насупился, потом усмехнулся вызывающе.

— А я возьму да раньше покова сватов пришлю. Мне на свадьбу подрабатывать незачем. И ты смекни-ка: за голодранцем или за мужиком с достатком у бабы жизнь вольготнее?

— Мне смекать нечего! Ивана на тебя никогда не променяю! — отрезала Марька.

— Ну, гляди, не пожалей потом!

Семка вскочил в ходок, гикнул на жеребчика и сразу скрылся в дорожной пыли, поднятой копытами жеребца и колесами ходка.

Марька решила, что на этом все и кончится. Однако несколько дней спустя к землянухе пришел Лешка. Парнишка, переминаясь с ноги на ногу, страшно краснея и отводя глаза, долго не решался начать разговор. А в руке Лешка держал тоненький прутик с нанизанными на него чебаками. И Марька подумала, что Лешка, видимо, шел с рыбалки и, как в детстве пирогом с отцовского стола, захотел по доброте своей поделиться с Марькой добычей. Но детство ушло, и теперь Лешка, долговязый подросток, вдруг обнаружил в Марьке девку-невесту и сразу оробел.

— Рыбкой угостишь? — подбадривая парнишку, сказала Марька. — Давно я не ела.

— Возьми, возьми! — с готовностью протянул ей кулан Лешка. — Я у мельницы корчажку ставил. Но только я не поэтому...

— Чего не поэтому?

— Я не поэтому пришел. Упредить тебя хотел, чтоб остерегалась...

— Кого остерегалась?

— Братки, Семена нашего...

— А чего его остерегаться? — напряженно спросила Марька, видя, что Лешка от стыда совсем взмок и язык никак не подчиняется ему.

— Ну, это... Семен который день понурый вовсе бродит и походя на всех огрызается... А нынче подслушал я случаем — Фроська его подучала...

Лешка опять замолк. И Марька смотрела на него в тревоге. Ведь стерва Фроська, ясно, подбивала Семку не на доброе дело.

— Ты говори, чему она подучала!

Лешка спустил голову, словно это он был виноват во всем, и, запинаясь на каждом слове, сказал:

— Ну... это... Незачем, говорит, из-за девки-батрачки переживать... Подкарауль да обабы — сразу делается послушной...

И, круто повернувшись, Лешка при последних словах бегом бросился прочь.

Ошеломленная и разгневанная его словами, Марька швырнула вслед парнишке кукан с чебаками, словно и он повинен в подлости, которую затевал брат.

Весь день Мария держалась настороженно, совсем не слезила с коня и стадо отгоняла подальше от кустов. Вооружилась даже берданкой, чтоб не подпустить Семку, если он покажется вблизи. А под вечер загнала свиней в загон спозаранку и ночевать в землянухе не осталась, засветло еще уехала в Сарбинку.

На следующую день, в воскресенье, с присков пришел Иван. Он сразу заметил необычную настороженность Марьки. И она со слезами поведала, какую весть принес Лешка.

— Гадина же эта Фроська! — скрипнул зубами Иван. — Да и Семка тоже, ежели слушал такие наставления.

— Боюсь я теперь пасти.

— Ну и брось этих свиней к чертовой матери!

— А брошу раньше приморозков — так Матвей ни гроша не заплатит.

— И леший с ним, все равно не пропадем! А с Семкой я нынче же потолкую!

— Ой, не надо! — перепугалась Марька, увидев, как напряглось лицо Ивана, какие крутые желваки заходили у него на скулах.

— А что, тебе его жалко, что ли? — сузил глаза Иван.

— Не его, а тебя жалко!

— Ну, со мной он едва ли совладеет, я его в дугу согну!

— Все одно — тебя тогда засудят! — прижалась Марька к груди Ивана. — Не надо, не затевай драку, Ваня!

— Ладно, до суда не стану доводить, — обнял, успокаивающе погладил Марьку по спине Иван. — Но потолковать с Семкой надо, а то и в Сарбинке не будет тебе покою, ежели примется подкарауливать.

Иван не стал ожидать случайной встречи или выслеживать Семена, чтоб перехватить его где-нибудь наедине. В тот же день он пришел на хутор, принялся греметь кольцом калитки. В ограду зайти было нельзя, там бесновался, носился по цепи осатаневший кобель.

На стук вышел сам Матвей. Спросил не без удивления, зачем пожаловал парень.

— Семен дома? Потолковать надо.

— О чем это?

— О чем — он сам скажет, ежели ему надо! — ответил Иван.

— Так. Может, в избу зайдешь? Я кобеля прицеплю к амбару.

— Нет, дело такое, лучше один на один потолковать.

Матвей оглядел, будто прощупал парня хмурым взглядом. Ничего не сказал, ушел в дом. Но Семена к калитке все же выслал.

Семка сразу сообразил, что разговор будет о Марьке. Ясно, девка рассказала своему миленку, как он, Семен, пытался отбить ее. Но ничего зазорного Семка в этом не видел и, не робея, вышел за калитку. Приготовился с ухмылкой выслушать, как Иван потребует, чтоб он не вставал ему поперек дороги.

Ухмылка, однако, мгновенно исчезла, когда Иван сурово сказал:

— Ты не скалься! Я пришел не лясы точить. Знай, коли посмеешь силком Марьку одолеть — худо будет!

— Откуда ты взял... это самое? — бледнея, пролепетал Семка.

— Откуда — не твое дело! Но пусть тогда родня твоя загодя поминки готовит!

Если бы Иван кричал, выходил из себя, Семка не так бы оробел. Скорей всего, тоже вскипел бы, вступил в перепалку. Но суровое спокойствие, с каким держался Иван, заставило его молча попятиться к калитке. Он всей шкурой почувствовал, что это не пустяшная угроза, брошенная сгоряча. И расплата за подлость, на которую подбивала Фроська, действительно настигнет неминуемо.

Больше Иван не сказал ни слова, повернулся и ушел. Но Семка еще долго стоял у калитки, не решаясь вернуться домой из-за охватившей его дрожи.

Какой был у Семки разговор с отцом — неизвестно. Но, надо полагать, отец поинтересовался, заставил сына выложить, зачем вызывал его Иван. Ибо в тот же день Матвей приехал к Марьке. Хмуро объявил:

— До приморозков Петрован с Лешкой стадо допасут, а ты убирайся от греха в Сарбинку. Не желаю, чтоб Семену моему голову из-за тебя проломил. Шибко дорогая эта голова, чтоб на кон, как бабку, ставить. Получай расчет сполна и уматывай!

Так Марька навсегда покинула землянуху у ворот поскотины.

5.

Артели, в которой работал Иван, пофартило. Старатели нашли довольно крупный самородок. Контора приняла его, но когда подошло время расчета, прищипик объявил: случилась, дескать, промашка, проба показала — не золото это, а пустая порода.

Часто надували на приисках старателей. Но делалось все ловчее. Набирали, например, в одну из артелей таких деревенских здоровяков, как Иван, которые могли без усталости орудовать кайлом, таскать тачки,

но мало понимали в золоте. Во главе этой артели ставили «башлыка» — так называли тут тертых, жуликоватых старателей, всегда готовых вступить в сговор с приемщиком. Разрабатывая самые богатые участки, артель эта добывала золота больше других, чаще находила самородки. Но «башлык» вместе с приемщиком утаивал львиную долю добычи.

Но Иван попал в артель, где собралось много бывалых старателей. Тут «башлыку» делать было нечего. И приемщику следовало остеречься. Однако жадность одолела его, и он решился на самый наглый прием: подменил самородок сходным камнем.

Старатели кинулись к управляющему. Тот и слушать не захотел. Проба, мол, есть проба. Показала не золото — значит, не золото. А что приемщик вначале ошибся, так был он под мухой.

Поняли старатели — сговор. А тут еще совпало так, что в этот же злосчастный день произошел обвал в другой копи, погибло пятеро рабочих. И не по лихому случаю, а оттого, что контора поскупилась на рудную стойку. И взорвало рабочих. Вспомнили все прежние обиды, обманы, обсчеты, то, что часто кормили их червивым мясом, тухлой селедкой. Остервенели, разнесли контору в пух и прах. Приемщика порешили, а управляющий еле очухался после смертного боя. Выручили его стражники, вызванные загодя, но малость припоздавшие.

Бунтовщиков разогнали, выловили зачинщиков.

Во время бунта на присеках оказался и Семка Борщов. Он приехал дотолковаться с управляющим об очередном сбыте свинины. Семка видел, как Иван кулаком опрокинул стражника, безжалостно избивавшего прикладом пожилого чахоточного старателя.

«А, влопался! Теперь поминки не по мне, а по тебе будут заказывать!» — мелькнула тут у него злорадная мысль.

По доносу Семки Ивана вместе с зачинщиками бунта увезли в Томскую губернскую тюрьму. Потом прошел слух: смутьянов осудили жестоко, на вечную каторгу да на поселение в ледяную Якутию. Иван, по словам волостного, получил каторгу.

Неизбывно было горе Марьки. Жила она теперь будто в полубытьи. Что-то делала по дому, о чем-то говорила с отцом и матерью, с братьями и сестрами, но ничего не касалось ее. Она как бы заживо оказалась погребенной в своем горе.

В эту-то тяжелую пору и явился опять к Безгубиным Матвей Борщов. Было ему теперь уже под шестьдесят, однако сила еще не покинула его, да и седина только слегка тронула виски. Выглядел, в общем, так, как иной мужик и в сорок не выглядит.

— А я опять за Марькой, — поясню поклонился он. — Прошу сызнова — отдайте ее нам. Только теперь уж не в няньки, а поставим в одну упряжку с Семеном моим.

— Сватом, что ли, пришел? — растерялся отец.

— Сватов зашло погода, чин-чинарем. Покаместь потолковать хочю, чтоб в закрытые ворота потом не ломиться.

— Так Марька Семену твоему вроде не пара, — глянул отец на мать.

— Отчего не пара? Девка ладная, парню моему шибко поглянулась, сам послал.

— Приданого-то за ней нету...

— Семену моему женино приданое ни к чему. Он сам сумеет богачество нажить. А ежели я ему еще долю выделю, так не с Марькой приданое возьмем, а за Марьку, как киргизы, выкуп дадим. Пару вороных не жалко.

Знал Матвей, куда метит. У Безгубиных по осени пала от старости верная Рыжуха, а меринок, выращенный ей на смену, утонул в Чарусе. Безлошадный крестьянин уже не хозяин. А тут надвинулась пора — дочь замуж выдавать, сына женить. Как, с чем их выделить? В семье старались это не обсуждать, но перед отцом с матерью стояла неразрешимая задача. Неожиданное сватовство Борщова рождало надежду, возникал просвет в непроглядности.

Конечно, Марька любила Ивана. Но раз сгинул он — не век же ей горевать, не в девках же вековать. Семка — парень тоже ладный, не говоря уж о достатках Борщовской семьи.

А Матвей Борщов расщедрился.

— Напридачу еще и корову с десятком овец в выкуп дадим. Потому знаем Марьку — стоит она такого выкупа. Да и родней будем — значит, не жалко, нашей родне не положено бедовать.

Польстила отцу с матерью эта похвала дочери. Одно беспокоило — слишком уж расщедрился Борщов. Уж не удумал ли сам причалиться к Марьке, как к первой снохе Фроське?

Борщов будто догадался, в чем сомневаются Безгубины, сказал:

— Семка у меня в отдел ныне пойдет. Нельзя парню препятствовать — надо ему при полной воле плечи развернуть. Тогда он может замахнуться на жизнь посильнее.

Совсем обезоружило это Безгубиных. Пообещали они, как было заведено, малость еще подумать. Но ушел Матвей в твердой уверенности, что дело сделано. Погодя недельку можно засылать сватов, отказу не будет.

В Марькином согласии родители не нуждались. Мог отец выдать ее и одной своей волей, по старому обычаю. Но понимал — сделал бы промашку. Оскорбится Марька, воспротивится — тогда будет трудно согнуть ее, заставить безропотно подчиниться. Скорей можно сломать. И пожалел отец дочку, не стал принуждать. Вечером, когда семья была

в сборе, когда Марька вернулась с поденки, сказал, зачем был Борщов, с какими посулами.

А приметив, как потемнела Марька, добавил с тяжким вздохом:

— Гляди сама. Неволить не станем. Только нужда-то больно злая...

Мать сказала слезно:

— Не в петлю же толкаем. Семка не урод какой, поживете — слюбитесь...

Марька разрыдалась, но не возразила. Жизнь свою она теперь считала все равно пропащей.

И был назначен сговор, а потом и свадьба.

6.

Снег покрыл землю уже больше недели назад. Ездили на санях, но мороз еще не окреп и не хватало у него силы сковать льдом Сарбинку. Это здорово огорчало парней и девок. Не терпелось им затеять первое катание на лотках.

Васька Дудкин, дружок Ивана, не дожидаясь ледостава, все же подготовил лоток. Васька был тут мастаком, знал, что хоть и нехитрое сооружение лоток, да делать его надо с толком. Облепишь коровяком, обольешь водой на лютом морозе — живо все готово. А обмазка и лед потом потрескаются, станут отскакивать. Если же на дворе примораживает слабо — долго надо ждать застывания, много раз требуется полить обмазку. Зато будет все надежно, не отлетит, когда тряхнет на ухабе.

Васька как раз полировал у сарая ледяное зеркало лотка ладонями, когда услышал:

— Здорово, дружок!

Васька повернул голову и заморгал от удивления: у прясла стоял Иван.

— Ты... ушел, что ли? Тебя ж, сказывали, на каторгу угнали.

— Нет, на суде меня приисковские заслонили, всю вину на себя взяли.

— Стало быть, отпустили? Ну, тогда опять вместе будем кататься! Я, вишь, лоток подготовил. Поутру глядел — реку уж корочкой чуток схватило. Только бы ночью мороз ударил покрепче...

— Не до катания мне пока. Свадьбу буду готовить.

— Свадьбу? А Марька... — Васька осекся.

— Что Марька? Что с ней случилось?

— Ничего не случилось, но...

— Не нокай, а говори толком!

— А ты разве не знаешь? — замялся Васька.

— Что и от кого я могу знать, если первого тебя встретил!

— А-а, коли так...

— Да говори ты, что ты мнешься! — осерчал Иван.

— Ну, это... Сватает Марьку Семен Борщов...

— Эка новость! — ...облегченно рассмеялся Иван. — Он еще летом к ней подсыпался, без толку.

— Так тогда она за тебя собиралась. А раз тебя на каторгу сказали... Уломали, в общем, Марьку родители. За Семку отдают.

— Когда свадьба? — спросил Иван после тяжелого молчания.

— Сегодня, сказывали люди, под венец. Скоро, поди, прикатят Борщовы.

Иван не стал больше слушать. Бегом рванулся к дому Марьки.

Убитая горем Марька в это время вышла во двор. Понуро брела, зябко кутаясь в цветастую шаль, сбереженную матерью еще со своей свадьбы. Но ежилась она не столько от первозимнего морозца и насквозь прохватывающего ветерка, а от страха перед злой долей, что беспощадно гнала ее опять в дом Борщовых. Остановившись у плетеного из тальника пригона, Марька невольно поглядела на осиновую с отшелушившейся корой слезку. Некогда, видимо, было отцу ошкурить, бросил на время, да так и осталась она лежать.

Может, лучше накинуть на эту слезку тот вон обрывок веревки, что висит на покоробленных тесинах воротец? И всему конец!

Тут из-за пригона вышел Иван. Был он худ и бледен, глаза провалились, нос обострился, взгляд тяжелый — будто не Иван, а привидение появилось перед ней. Марька слабо вскрикнула, а Иван шагнул к ней, обнял за плечи. И тогда она неудержимо расплакалась.

— Ну чего ты! Я ж возвратился, совсем возвратился!

— Ой, пораньше бы чуток! — как в беспамятстве ухватилась Марька за полушубок Ивана, словно земля под ней расступалась.

Но тут кто-то хлопнул дверью, и Марька сразу пришла в себя. В доме у них уже собралась вся родня Безгубиных, ждали, когда подкатит со своими родными жених, чтоб отправиться в церковь, а потом прямо к Борщовым. По заведенному обычаю свадьбу гуляли первый день у жениха, второй — у невесты.

— Ох, малость опоздал ты, Ванюшка! — прошептала Марька, вся сразу ослабев.

Иван увлек ее за пригон. Сказал тоже приглушенно, но зло:

— Он что, одолел тебя?

— Нет, нет! Но в церковь уж собрались!

— Это знаю. Васька сказал, ну я и рванул сюда, чтоб успеть повидать, потолковать...

— Вот и потолковали... — вяло произнесла Марька.

— Да ты что, сама за Семку согласная?

— Не хочу я за него! Руки вот собиралась на себя наложить.
— Тогда я уволоку тебя — и вся недолга! Останется этот гад с одними усами под носом! Ведь это он меня в тюрьму упек, на каторгу за-
нять надеялся...

— Семка? — ахнула Марья. — Но как...

— Некогда, потом расскажу! Надо бежать немедленно...

— Пешком-то недалеко убежишь — догонят.

— Не догонят, я все обдумал, когда летел сюда. Ты постой здесь, а нельзя, так выйди из дому чуток погодя. Я пригоню рысака порезвее Борщовского!

— Марья, а Марья! — раздался у крыльца голос.

— Здесь я, господи, по нужде сходить не дадут! — отозвалась Марья.

— А-а... — услышался хохоток. — Тогда извиняй.

И шаги удалились.

— Жди, смотри! А не дожدهшься тут — прямо из церкви украду, так и знай! — Иван перепрыгнул через плетень, исчез в переулке.

Марья сходила домой, надела праздничный полусак, сказала матери:

— На крыльце пока постую. Голова что-то раскаливается.

Мать глянула на нее обеспокоенно: не свалилась бы совсем девка.

— Иди, дитятко, иди. От этой колготни у меня у самой будто толкунцы в глазах кружатся. Катеринушка, ты бы тоже вышла...

На крыльце, на правах подружки, Катерина принялась утешать Марьку:

— Брось страдать-то, лица на тебе нету! Знаю, Ванюху больно уж жалко, да теперь его не возвратишь. А Семка — жених завидный. Ей-богу, и я и все наши девки тебе завидуют!

Время шло, а Иван не появлялся. Еще немного промедления — сам сказочный конек-горбунок не выручит.

Зазвенели, запилились бубенцы в конце улицы. У Марьки подскочило сердце: Ванюшка, однако, мчится! И сразу упало — нет, это Семка катит со стороны борщовского хутора. Опоздал Ванюшка! Вон уже показался борщовский рысак в улице во главе целого свадебного поезда.

Сбежать одной, укрыться пока у кого-нибудь в деревне? Все равно догонят. Даже если успеет спрятаться у кого-то в хате — ворвутся силой, не остановит и сопротивление хозяев, уволокут связанную. Только тогда уж без венца увезет Семка к себе в дом. Потому что по деревенскому обычаю, если сбежала невеста, надо одолеть ее, а потом уж покорной овечкой вести в церковь. Иначе позор тебе будет, мужиком считать перестанут.

Вся похолодев, металась Марья взглядом от улицы, от разукра-

ленного лентами свадебного поезда к пригону, где обещал появиться Иван.

Вот уж из дому вывалилась вся родня, протопала мимо Марьки к воротам. Вот уже у ворот разыгралось шутовское торжище. Ближняя и дальняя родня невесты, прежде чем впустить жениха и его родичей в ограду, запрашивала с них выкуп.

Тут старался кто во что горазд. Одни запрашивали всякую скотину, хозяйственный инвентарь, другие, заядливые выдумщики, чуть ли не птичье молоко. Но прежде всего требовали «беленькую с красной головкой» да яркую таежную медовуху. И подкатившая к воротам борщовская родня не скупилась на этот счет. По кругу бойко ходила чарка с ковшиком.

Но вот уже и жених, пообещав тестю с тещей оговоренных пару коней, телку и десяток овец, гордо прошел в ограду. Неумолимо приближался страшный миг, когда Марька под руку с ним должна была сделать первый невозвратный шаг в борщовскую семью.

И тут она увидела, как через плетень у пригона перемахнул из переулка Иван. Ее бросило в жар, не помня себя, она кинулась к нему навстречу.

Семка-Красавчик, увидев, как устремилась с крыльца невеста, как тылает ее лицо, решил, что, запунцовевшая от волнения, она спешит к нему. Жила опаска, что девка ударится в слезы, что под венец пойдет, как из-под палки. А тут на тебе, сама поспешает к жениху!

Он расплылся самодовольно, оглянулся на толпившихся у ворот мужиков, баб, парней и девок. «Гляньте-ка, как меня привечает невестонька!»

Но Марька прошмыгнула мимо него, что есть духу бросилась к пригону. Иван подхватил ее на бегу, перебросил через плетень, одним махом перескочил сам.

— Садись скорей! — услышала Марька.

Она оторопело оглянулась по сторонам: куда садиться? Ни ожидаемого рысака порезвее борщовского, ни даже плохонькой клячки в переулке не было видно.

— Да сюда, под ноги гляди! Живей давай!

Марька увидела возле своих ног длинный десятиместный лоток. Она не успела сообразить, как и зачем тот оказался здесь, куда и далеко ли они смогут умчаться на этом лотке от погони, как Иван подхватил ее, усадил. Потом, упершись ей в спину, разогнал лоток под гору, на ходу сам сел сзади нее.

Семка никак не ожидал, что Марька побегит к пригону. Проводил ее недоуменным взглядом: что с девкой стряслось?

Но когда увидел у пригона Ивана, от удивления и страха даже челюсть отвисла. С неба, что ли, Иван свалился? Или с каторги, варнак,

убег? — пронеслось в голове. Но даже тут до Красавчика не дошло, что Марька намерена бежать с Иваном. Он решил: девка, внезапно увидев Ивана, бросилась к нему, чтоб попрощаться.

Вся толпа хлынула от ворот в ограду. Это сразу вернуло Семке уверенность. Он шагнул за Марькой, чтоб на правах законного жениха навсегда отбросить Ивана едкой насмешкой:

— Не желаешь ли нам угодить, под венец проводить?

Но не успел Семка сделать и трех шагов, как Иван перекинул Марьку через плетень и сам перемахнул за ней.

Творилась какая-то несуразица! Случалось, парни по сговору с девками выкрадывали их у родителей, когда те собирались выдать за нелюбимого. Но делалось это под покровом ночи, на лихих конях. Но чтоб днем да на людях — с ума надо свихнуться! И уж вовсе нелепым, неправдоподобным было то, что Иван увозил Марьку на лотке. Это было так же поразительно, как если бы вскочили они на помело и полетели над крышами деревни.

Сзади раздалось многоголосое: — Невесту украли!

Затем прогремел дикий голос отца:

— Чего стоишь, раззява? Догонять надо!

Тогда Семка бросился к рысаку, стал поспешно разворачивать его к переулку. Сделать это было не просто — свадебный поезд запрудил всю улицу. К тому же одна из кошевок стояла поперек въезда в переулок, пришлось оттаскивать ее. И когда Семка, наконец, бросился в погоню, а за ним поскакал отец и другая родня, то Иван с Марькой мчались уже далеко. И скорость лотка все увеличивалась. Он летел по Длинному клину так, что и в бешеном намете коню уже было не догнать его.

Но впереди путь лотку преграждала река. Направо свернуть — там ровное открытое поле, разгону хватит не надолго, лоток постепенно остановится. А пешком в чистом поле от коней далеко ли убежишь? Спасение можно было найти лишь налево. Небольшая луговина переходила там в густую заболоченную согру. Промчатся через всю луговину на лотке тоже надеяться не приходилось — среди кочек не просто лавировать, скорость быстро погаснет. Однако до согры осталось бы уже недалеко. А там среди непролазных тальников кони уже не страшны. И пешие преследователи — тоже. Скопом не погонишься, трясина поглотит. А по одному — Иван силой не обижен, даст разок — долго будешь очухиваться.

Семка в азарте погони, может, и не сообразил бы все это. Но Матвей Борщов смекнул и, как только кони вырвались из переулка, зорал:

— Влево, влево забирай! Перехлестывай на луговине, боле им некуда податься!

Только Иван решился на такое, о чем ни Матвей, ни Семка и никто из преследователей даже помыслить не мог.

Хотя реку лишь чуть схватило морозом и покрылась она слабым льдом, вернее, прозрачной хрусткой корочкой, Иван направил лоток прямо по склону к реке.

Тут даже Марька, приготовившаяся скорее погибнуть вместе с Иваном, чем попасть в лапы освирепевшего Семки, невольно вся затряслась в страхе.

Иван ухватил ее за плечи, прокричал в ухо:

— Не трепыхайся, замри камнем!

По спуску, выкопанному в берегу к броду, лоток с бешеной скоростью вылетел на реку.

Ледяная корочка сразу треснула, раскололась, но пролом осесть под лотком не успел — настолько стремительно он мчался. Молнией летел лоток. И как от ветвистой молнии, раскалывающей небо, далеко разбегались по хрустящему ледку сверкающие трещины.

Только у противоположного берега, когда скорость замедлилась, ледок стал проламываться. Прозрачные льдинки проседали, перевортывались, вставали ребром за лотком. Но все же он успел вымахнуть на песчаный берег. Да и не докатился бы немного — у этого берега было неглубоко.

Иван вскочил, поднял на ноги словно прикипевшую к лотку Марьку. Обнял ее порывисто, запрокинул голову и крепко поцеловал прямо в губы.

— Наша взяла, Марька! — сказал весело, победно.

Никакая погоня теперь была уже не страшна. Бродом через реку ездили тут лишь среди лета, в июльскую жару. И то в пестерьки заливало, а чуть свернул с брода — и телеги всплывали. А в сентябре от осенних дождей вода снова поднималась и не спадала уже до ледостава. А такой ледок, по какому они промчались, не только конного, но и пешего не сдержит. Это же и дураку ясно, если от лотка остались трещины и разводы.

Скакать пять верст в объезд, чтоб перебраться по мосту на тракте, — тоже бесполезно. Лес — вот он, рядом. За это время Иван с Марькой укроются в нем, исчезнут, как иголка в стогу сена. Заимок, охотничьих избушек, смолокурен и пасек в лесу немало, любая беглецов приютит. Да и шалаш на ночь не хитро поставить, для Ивановых да Марькиных рук — дело плевое. А пихтовая лапка что тебе перина — и духовита и мягка, первую-то ночь в таком шалаше даже приятнее провести.

Семка подлетел к берегу в тот самый момент, когда Иван целовал Марьку...

Известна поговорка: победителей не судят. По местным же обычаям, если парню удалось скрыться с девкой от погони — он заслуживал уже не осуждения, а одобрения за лихость и мужество, за преданность своей любимой.

Назавтра он свободно мог гулять свою свадьбу, и была ему честь и хвала. А над горе-женихом, у которого увели из-под носа засватанную девку, потешались долго и беспощадно:

— Выхватили у раззявы лакомый кусочек прямо изо рта! И косточки-обглодыша не понюхал!

Зачастую кличка «Обглодыш» прилипала на всю жизнь.

Но такого позора, какой случился с Семкой, на деревне еще не видывали. Чтобы беглецы сумели не только уйти от преследования, но оказались неуязвимыми и могли целоваться на глазах у жениха, — это было непереносимо.

И Семен в слепой ярости так огрел рысака бичом, что тот, обезумев, рванулся на лед.

Ледок расколосся, как яичная скорлупка, вода забурлила, и конь вместе с кошевкой исчез в темной полынье.

Люди кинулись на выручку, выхватили Красавчика из кошевы, жалкого, как мокрая курица. Матвей Борщов торопливо усадил сына на другую кошеву, погнал коня обратно в деревню.

Иван с Марькой, взявшись за руки, быстро пошли к лесу...

Свадьбу сыграли на другой день.

7.

Недолгим было счастье Марьки. Года не минуло — грянула германская война. Единственному сыну солдата-инвалида, Ивану была положена отсрочка, однако его сразу же забрали. Объявили: раз женатый, останется со стариками молодица, льгота отпадает.

Люди болтали, что опять не обошлось тут без козней Семки Борщова, который пристроился писарем при воинском начальстве. Красавчик после бегства Марьки назавтра же сыграл свадьбу, взял в жены Катерину, Марькину подружку.

По деревне язвили: чтоб не пропали заготовленные на стол еда и питье. Сам Семка, мигом высватав Катерину, бахвалился:

— Катька получше Марьки. И телом подороже, и лицом побелее, и родители у нее побогаче, сами приданое дали. Круглый выигрыш получился!

Ну, а что было у Семки на уме — кто знает? Только позор не вдруг смоешь. Все понимали, что Семка затаил лютую ненависть. И похоже, впрямь постарался, чтоб Ивана в первую голову отправили на войну.

Служил Иван матросом на Балтийском флоте, на минном тральщике. Как он там плавал и вылавливал эти окаянные мины — Марька плохо представляла. Никогда не видывала она ни моря, ни мин, да сердцем понимала, что вылавливает ее Иван злую смерть, а разве смерть выловить просто?

Тревогу на время рассеивали только письма. Однако, вспыхнув, радость тут же гасла: Иван мог десять раз сгинуть за то время, пока шло письмо. И становилось на душе еще хуже.

Было бы, наверное, все-таки полегче, если бы осталась с ребенком. Если бы еще сын — растила бы второго Ивана.

А война шла нескончаемо который год. И, кроме гнетущей тревоги за Ивана, много свалилось в эти годы на Марьку горьких горестей. Без вести пропал на фронте брат. Тиф-брюшник унес в могилу отца с матерью, двух сестер. Умерла и свекровка. Осталась Марька одна со свекром. Невелико было у них хозяйство, конь с коровой да пашни полторы десятины, только старый солдат теперь был вовсе не помощник, и все заботы-работы лежали на Марькиных плечах.

Изверилась Марька и чаще ждала не возвращения мужа, хотя бы покаленного, как свекор, а похоронки из волости. Скольких уж солдаток подкосила эта злюка-весть, не верилось, что и ее обойдет.

Но Иван явился.

Ранним декабрьским утром, едва прогорланили зоревые петухи, настужь распахнулась дверь избы, и в облаке морозного пара через порог шагнул матрос в бушлате.

Марька, только что принесшая со двора охапку поленьев, обомлела, выронила их возле печи. Керосину не было, лампу Марька не зажигала, а печь еще не успела растопить, в избе стоял полумрак, она не узнала Ивана, но сердцем почуяла: он! И, не помня себя, стремительно кинулась к нему, повисла на шее.

— Живой! Живой! — всхлипывала она.

Иван крепко ее обнял, произнес весело:

— Не реви, а радуйся, Марька! Я не просто живой — я всем нашим мужикам и бабам вольную жизнь принес. Пришел не абы как — с советской властью в руках!..

С конца ноября до Сарбинки стали доходить слухи, что в «Расее» рабочие да солдаты сбросили буржуйское правительство и установили народную власть. В больших сибирских городах, уверяли люди, тоже народ власть захватил. Но в окрестных селах и деревнях все пока было по-старому. Властью правили старшина с писарем, в деревнях — сельские старосты. Люди поэтому и верили и не верили, что войне конец и солдаты скоро вернутся домой. Была ведь уже одна революция, царя скинули, а война все продолжалась, и народу стало не слаще.

— Наша взяла, Марька! Власть — народу, войне — конец!

Марька плохо соображала, почти не слушала, что говорит Иван. Она была оглушена, потрясена его появлением. И важнее любых слов для нее сейчас было то, что вот он, ее Иван, стоял в избе и она могла прислониться к его груди, выплакать застоявшиеся слезы.

И все-таки хотя и не вникала Марька в смысл сказанного, однако сознавала: Иван насовсем. И войну, и смерть, и всякое зло, которое топью стояло вокруг него, — все одолел! А осознав это, Марька спохватилась: надо мужа покормить. Ясно, он всю ночь провел в дороге, если явился спозаранок, и, конечно, голоден.

— Ой, погоди, я печку растоплю, блины заведу живенько!

— Давай, давай! Давно я блинчиков не едал! — И, помолчав минуту, спросил изменившимся, неуверенным голосом: — А бати что-то не вижу... Неужто...

— Ой, прости меня, дуру! Ополумела, забыла, что радость великая не для меня одной... Вон он, батюшка!

Старик сидел на печке, свесив ногу. Деревяшку он к ночи отстеги-вал и теперь в волнении не мог найти ее, шарил трясущимися руками вокруг себя и плакал молча.

Иван шагнул к печке, как ребенка, ссадил отца на лавку, крепко обнял, поцеловал в мокрую от слез бороду. И сам едва не расплакался.

— Ну, будет, отец! Скажи хоть здравствуй, чего ты молчишь...

— Здравствуй, сынок! А говорить чего тут: привел господь свидеться — боле ничего не надо... Мать вот не дождалась...

Растопив печь, Марька поспешила в кладовку за мукой. Но, пробе-гая мимо мужа, не утерпела, опять порывисто обняла. Иван невольно охнул.

— Чего ты? — всполошились разом и Марька и отец. — Уж не ранетый ли?

— Ерунда! Офицер продырявил, когда Краснова от Питера отбива-ли. Пуля прошла под ключицей навывлет. Повезло — легкое не задела.

— Правда?

— Не вру, не пужайтесь. Если бы крепко зацепило — в госпитале валялся. А вовсе бы не ранило — с корабля не списали. Говорю — по-везло. По случаю ранения Центробалт отправил домой с наказом — крепить здесь Советскую власть.

— Чего крепить-то, вроде. Нету еще у нас новой власти.

— Нет — так создадим! Мандат на это кровью завоеванный.

За долгие годы войны наскучалась Марька по мужу. Побывать бы с ним наедине, но где там! Весть о возвращении Ивана неведомо как раз-неслась по всей Сарбинке. Мужики и бабы повалили валом. Дверь в избу не закрывалась до позднего вечера. Жадно слушали матроса, без

конца заставляли повторять, как она «доподлинно» творилась — революция. И почему «Аврора» бабахнула только раз, а не разнесла, не раскрошила тот царский дворец до основания. И как выкуривали из-за поленичек юнкеров, как поднял руки вверх «бабский» батальон, как заарестовали господ министров, кто такой Ленин, видел ли его Иван лично.

— Видел не однажды, потому что несколько раз стоял на карауле у комнаты, где он работал, — отвечал матрос и подробно описывал, как выглядит Ильич.

— Значится, замирение Ленин объявил? Слава богу, солдатушки домой возвратятся.

— Кои уцелели. Не счесть, сколь голов-то положили за царя-батьюшку, чтоб ему в пекло угодить! И временных туда же!

Первые декреты Советской власти о мире, о земле, которые Иван привез с собой, касались всех кровно, о них речь шла больше всего. Матрос перечитывал их без устали, растолковывал дотошно, и это мужикам было особенно по душе.

— Теперь-то уж жизнь впрямь должна начаться вольная!

— Землю трудовым крестьянам — это справедливо. Только и с наделом некоторым горюшко. У бедноты-то ни тягла, ни плуга, ни молотяги...

Крепких богатеев в Сарбинке было не много — прасол, лавочник, сельский староста, Борщов с сыновьями да еще три-четыре семьи. На встречу с матросом никто из них не пришел. И беднота выкладывала свои горести откровенно, без оглядки. Были тут и «справные» мужики, но они тоже поддакивали. Кулак-миродед бедняцкую кровь сосал, да и хозяйства с достатком норовил к рукам прибрать. Унять богачей, ограбить трудовых крестьян от напастей и эти были согласны.

Пока говорили мужики о своих заботах, Иван слушал, не перебивая. Лишь выражение лица менялось. Сначала улыбался приветливо, как радужный хозяин, потом посуровел. Пристукнув по колену, твердо сказал:

— Все переделаем! Для того и власть брали!

— Так-то оно так. Декреты, какие ты читал, для люда крестьянского, рабочего да солдатского самые наинужные. Только, опять же, это в Питере. За тридевять земель, стало быть. А у нас кто богат — тот и силен, тот и правит миром, — пощипывая кудлатую рыжую бороденку, выложил свои сомнения один из мужиков.

Это был плотник Еремей Ипатов. Мужик грамотный, охочий до книжек, но обремененный большой семьей. Постоянная забота, как прокормить, одеть и обути ораву ребятишек, выучила его плотничать. Лишь летом он крестьянствовал, а каждую зиму мыкался по ближним и дальним деревням. Ставил срубы домов, подымал стропила, подводил

карнизы, крыл крыши — словом, делал ту плотничью работу, где обходятся топором да пилой, без рубанка и фуганка.

И уж кто-кто, а Еремей по горькому опыту знал: у кого власть, тот может повернуть по-всякому. Со своим братом-мужиком как был уговор, так он и рассчитывается. Если и попадетя бестия, надует, так через волость управу найдешь. Но коль обманет кто из волостных чинов, из богатеев — правды потом днем с огнем не сыщешь.

— Однако за обман ты живо беса свербящего подсунешь!

Все засмеялись. Прошлую зиму надул Еремея купец Кормачев, свояк волостного старшины. Ну, Еремей и подсунул ему в новые хоромы этого самого беса. Как погода к перемене, к ненастью, так в углах ноет, свербит на все лады. А мороз подкатит — треск такой стоит, будто бревна в щепу колются. И отыскал купчина Еремея, взмолился: избавь от напасти, не то супруга ума лишится, деток родимчик хватит. Принадно все недоданное вернул и еще четверть горькой поставил.

— Меня-то обжулят — я беса подпущу, секрет плотничий знаю. А как весь мир тут объегорят?

— Кто объегорит-то?

— А кто найдется попроворнее. Когда царя скинули, тоже все глотки драли — свобода, свобода! А власть как была у богатеев, так у них и осталась. И ныне опять ждем, когда нас вольной жизнью, как орами на посиделках, одарят.

— Еремей прав — надо и здесь Советы немедля устанавливать, — сказал Иван.

Все дружно согласились. Самые азартные сразу же вскочили с лавок, готовые к действию. Но плотник опять вставил свое слово.

— Так-то оно так, да вон-то как... Не уподобиться бы тому старику...

По избе прошелестел смешок. Все смекнули, на какого старика намекает Еремей. С детства знали поучительную историю про деда, который вздумал мастерить в избе сани.

— Славные выйдут розвальни, — объявил он старухе.

— Так-то оно так, да вон-то как, — заметила старуха.

Дед и ухом не повел, не пожелал вникнуть в бабкины слова. Принялся за дело. А когда все закончил, опять с похвальбой спросил:

— Гляди, добрые изладил?

— Так-то оно так, да вон-то как, — опять повторила старуха.

Осерчал дед на бабку за то, что толмачит непонятное. Поволок сани из избы, а они в дверь не лезут, вон-то не выходят. Тогда лишь собрал старик: об этом и толковала старуха. Надо было умом пошевелить, прежде чем за дело браться.

— Тут прибауточки ни к чему! — свел брови Иван. — Дело не шутайное.

— К тому и клоню, что не шутейное. Оравой навалиться — староста наш не только власть сдаст, а исподние портки с себя скинет. А вот как новую власть напрочно утвердить — тут умишком надо пораскинуть, — с достоинством разгладил бороденку Еремей.

— Нечего тут рассусоливать! — вскинулся солдат Пахомов, за несколько дней до Ивана вернувшийся в Сарбинку с фронта. — Созвать на сходку всех мужиков и баб да и выбрать новую власть! Как солдатские комитеты в армии выбирали.

— Мир-то недолго собрать, — сощурился Еремей. — Только Борщовы да Юдашкины сходку эту на свою бы сторону не повернули. Многие справные мужики привыкли им в рот глядеть, а бедняки в долгах у них, как на поводе.

— Ну, теперь мы ученые! — сказал Иван. — Не допустим, чтобы мироеды к власти пролезли. И как действовать — знаем!

Иван предложил создать сначала военно-революционный комитет. Этот комитет немедленно возьмет власть в Сарбинке в свои руки, а потом проведет выборы в Совет.

Видя, что разговор пошел об организации новой власти, к дверям потянулись все, кто остерегался брать на себя ответственность, потому что новую власть надо было не только организовать, но и оборонять, ежели потребуются, с оружием в руках, как сказал Иван.

Остались бывшие солдаты да парни посмелее, из батраков и неприписных крестьян. Осталась, конечно, и Марька — не уходила же ей было из собственного дома. В разговор она не вмешивалась, но слушала напряженно. Дивилась на Ивана — казался он ей совсем не таким, как прежде. Раньше это был сильный, отчаянный, но простой деревенский парень. А теперь Иван держался с такой решительностью и уверенностью, словно был хозяином не только в своем доме, а и на всей земле. Речь у него стала вовсе не деревенская, говорил напористо, твердо и будто по писаному, как в тех декретах, которые читал. Даже внешностью он переменялся — черты лица стали резче, взгляд отвердел, плечи сделались будто прямее, вся фигура стройнее. Сказывалась, видно, матросская выправка.

Военно-революционный комитет был создан тут же. Вошли в него батрак Самсонов, фронтовик Пахомов и плотник Еремей. Председателем ревкома избрали Ивана.

Совет решено было выбрать погодя, когда ревком свяжется с городскими большевиками, чтоб организовать власть, как положено.

Иван приметил, как Марька смотрела на него. И когда поздним вечером остались они наедине, обнимая ее, шутливо сказал:

— Ты весь день глядела на меня так, будто я — это не я, а какая-то диковинка!

Марька счастливо рассмеялась.

— Я и впрямь дивовалась. Шибко ты переменялся!

— Такие годы хоть кого переменят, — раздумчиво произнес Иван. — И я, конечно, уже не прежний. Жизнь многому научила. А еще больше — партия... Я ведь, жинка, с начала войны большевиком стал. У нас на тральщике боевая была группа, марксистскую литературу не только сами читали, а и по другим кораблям распространяли. После февральской матросы меня в Центробалт избрали... В общем, давно понял, что не кулаком надо правду-матку отстаивать, как тогда на приисках, а всю жизнь народную по-революционному перестраивать.

Иван помолчал, потом, притянув жену к себе, как по секрету, сказал ей в ухо ласково:

— А я к тебе тоже приглядывался. Ты тоже сильно переменялась...

— Исстрадалась вся за войну-то, постарела...

— Нет, ты лучше стала! Сразу видать — ладно тут с батей жили. Знаю, нелегко доводилось, но только бабья сила в тебе теперь чувствуется, а не забитость былая.

— Ой, какая у бабы без мужика сила! — от сдержанной ласки мужа у Марьки растопилось сердце. — А с батей мы, верно, по добру жили. И когда он меня читать-писать обучил, так у меня будто глаза на свет открылись...

— Да, я твои письма с великой радостью читал! Грамотейка ты моя!

Всю ночь проговорили Иван с Марькой, и никак не могли наговориться, и никогда еще не были так счастливы, так близки.

8.

Сходку созвали в канун рождества. Представитель Сарбинского и волостного ревкомов съездил в Барнаул, разузнал там принципы организации и работы новой власти в только что организованном городском Совдепе. Городские большевики одобрили действия сельских ревкомовцев, уполномочили их на создание местных Советов.

Чтоб не пролезли в Совет ставленники богатеев, кандидатуры председателя, секретаря и членов Совета наметили заранее. Председателем — Ивана. Секретарем — плотника Еремея. Плотник, правда, учился всего полторы зимы, но в Сарбинке числился среди первых грамотеев. Всю войну он сочинял бабам письма в солдатские окопы, натренировался внятно читать самые корявые строчки с фронта. Ну, и поневоле научился безошибочно считать, чтобы не обманывали на каждом шагу, когда ходил по деревням с плотничьим инструментом.

— Ладно, не все махать топором, испробую, поскриплю пером, — сказал плотник на ревкоме.

Кандидатуру Ивана сход утвердил без споров. У бедноты было к нему полное доверие, бывшие фронтовики считали своим братом, а хозяйственные мужики не противились, ибо знали, что не от лени беден дом Федотовых. Только богатеи были настроены против «моряцкого комиссара» да скрывали пока ненависть под надвинутыми на глаза сукоными картузами и меховыми шапками.

— Значит, объявляется: избран председателем Сарбинского Совета матрос Иван Федотов. Противоголосующих не оказалось. А кто руку не поднял, считается отклонившимся. Революция обойдется без таких.

Но едва выставили кандидатуру Еремея, как в народе произошло движение. К крыльцу пустовавшей конторы лесничего, который до войны жил в Сарбинке, а потом перебрался в волостное село, сквозь толпу яростно прорывалась высокая, ширококостная, как дюжий мужик, бабища в домотканом шабуре. Лицо ее было багровым, глаза гневно выпучены, изо рта рвался непрерывный крик. Однако не громовой, как можно было ожидать от такой здоровой бабы, а неожиданно тонкий, жалобно-писклявый.

— И-ни-и! — резало воздух. — Роби-ить надо-и-ть, а не дури-иить!

Это была Прасковья, жена Еремея. Вся Сарбинка называла ее не иначе, как «оглашенной». Обычно угрюмая, молчаливая, она целыми днями возилась по хозяйству, в пересуды кумушек сроду не ввязывалась, а с мужиками и вовсе в разговор не вступала. Но если кто наносил ей обиду, она кидалась на того, как кобель-цепник. Унять ее было невозможно. Или проси прощения, или скрывайся поскорей и подальше.

Увидев, с какой яростью прорывается его половина к крыльцу, Еремей поспешно объявил:

— Сымаю свою фигуру! Оттого как и вправду робить надо. Бумажки-то подписывая, кусок своей ораве не зароблю...

И, спрыгнув с крыльца, мышонком шмыгнул за контору.

В толпе загоготали.

— Эх ты, ренегат-отступник! — крикнул, стиснув кулаки, Иван. — Сам твердил — власть надо брать в свои руки, и сам первый улизнул за угол!

Никого из мужиков не возмутило однако бегство Еремея.

И правда — кто кусок ребятишкам добудет, кроме отца-то? Власть и без нас поставят. Тут своей работы-заботы невпроворот!

И один по одному стали отходить в сторону, потянулись по домам.

Но ход собрания опять нарушила Прасковья.

Увидев, что Еремей послушался ее, отказался «секлетарить», она сразу успокоилась, остановилась. Потом сказала вразумительно:

— Бездетного надо выбирать-то! Чтоб без обузы дело правил!

— Верно баба толкует! Многодетным куда уж лезть!

— Не скажи! Бездетный да беззаботный с чего о нужде людской позаботится? Ежели ему — завей горе веревочкой...

— Нужду-то народную не понаслышке знать надо.

— А кто тут кричал — без нас управятся?

— Знамо, хомут для коня завсегда найдется!

— Так я не конь, мне на шею хомут-то толкать! И у коня — иной хомут робить помогает, а иной холку в кровь сбивает.

Никто уже не собирался уходить. Наоборот, народу на площади перед конторой все прибывало. До всех как бы впервые дошло: сами для себя выбирают власть.

— А чего все мужиков ставят? — прозвенел чей-то женский голос. — Бабы нешто не люди?

— Верно! Вон Прасковья показала, кто в ином доме хозяин.

— Прасковью и выбрать вместо Еремея! Раз она власть умеет показать. А Еремей пусть над этим умом пошевелит, как его дэд с санями...

— С ума спятили! Куды я от ребяташек! — перепугалась Прасковья и стала поспешно продираться назад.

Кругом снова грохнул смех. В это время, растолкав окружавших ее людей, на крыльцо вскочила раскрасневшаяся, в сбившемся платке Марька.

— Нечего тут скалиться, над Прасковьей потешаться! — крикнула она.

И не очень складно, но зато яростно стала говорить о том, что если бы не ребяташки, так Прасковья не хуже Еремея работала бы в Совете. И многие бабы поумнее тех мужиков, которые тут гогочут. И в проклятую эту войну бабы разве меньше натерпелись? И за мужиков и за себя хребтину гнули, над непосильной работушкой надрывались, не слезами, а кровью умывались! А Советская власть войне конец объявила, мужиков домой возвращает, так неужто для того, чтобы над бабами изгойаться?

— Верна-а! Марью в Совет надо! Марью! — подхватили бабы.

Марька не ожидала такого поворота. Она совсем не думала о себе, когда вскочила на крыльцо. Просто не могла не заступиться за Прасковью, за всех баб, натерпевшихся за лютые годы войны. Прорвалась, заговорила сила протеста против злой несправедливости, та самая бабья сила, которую подметил в ней Иван. И теперь, когда Иван был рядом, когда устанавливалась новая, справедливая власть, Марька не могла допустить, чтоб бабами помыкали по-старому.

И вот крик — ее в Совет! И не только бабы горланят, а и мужики подхватили:

— Марью! Марью!

— Да нет, я не о себе толковала! — замахала руками Марьяка.

Иван смотрел на жену с восхищением. Ай да молодец! Прямо здорово, по-революционному за баб агитнула и народ на серьезный лад повернула. Но перед сходкой он все-таки возразил:

— Я, конечно, не против народной воли, только секретарем Марьяка не годится. Грамоту она самоуком постигла, письма мне на войну сама писала. Но честно скажу — только я те письма и могу читать-разбирать...

По площади опять прокатился смех. На этот раз однако добродушный, веселый.

— Секретарем придется поэтому кого-то другого выбрать. Вот хоть Петра Стукова, он и в армии писарил, жох в бумажных делах.

— А Марьяка пуцай заместителем у тебя, Иван! Дома у мужика баба — первый заместитель, ну и в Совете — пуцай! В школу не довелось ходить — так это не ее вина, а разумом она не обижена, знаем. От баб выдвигаем!

И хотя заместителя председателю поначалу выбирать не собирались, сходка тут же утвердила новую должность в Совете. А когда избрали Марию, какой-то умник по-серьезному или ради шутки предложил еще поправку:

— Тогда и называть надо так: Совет крестьянских, солдатских, матросских и бабьих депутатов.

— Бабы не сословие! — не согласился другой. И у буржуев бабы имеются и у офицерни. А они, поди, не за советскую власть.

— Буржуйку иль офицерку не бабой и кличут! Барыней иль госпожой величают, слыхивали. Ищо дамочкой, на худой конец.

— Баба — трудовой человек. У рабочего да у крестьянина только жена бабой зовется.

Иван попытался доказать, что поскольку упоминаются слова «крестьянских, солдатских и матросских», то само собой подразумевается, что это и мужчины и женщины. Но тот же умник возразил, будто крестьянин и крестьянка — это одно. А солдат и солдатка — совсем другое. Баба солдаткой зовется и у рабочего, и у пахаря, и у лавочника, и у мельника, если мужика в солдаты забрали. И если бабы избрали в Совет своего представителя, то так и надо называть его.

— Марьяка — бабьих депутат. Пусть и значится так.

Иван решил не спорить по мелочам.

— Ладно, пусть будет Мария женским депутатом.

— Э, нет! — опять возразил тот же умник. — И у царя, поди, жена женщина была, и у генералов там, у полицейских — у всех женщины. Баба есть баба, и нечего стыдиться, не поганое какое слово, а самое святое, трудовое!

Тут вся площадь, и бабы и мужики, загорланила:
— Правильна-а! Неча стыдиться! Так и надо звать, как всегда зовем!

Матрос махнул рукой:

— Принято! Пусть зовется — бабий депутат! Главное — власть советская, народная. А народ сам себе худо не делает!

9.

На следующий день, по случаю рождества, село загуляло, загорланило пьяными песнями с самого утра.

Иван же спозаранку принялся «наглядно оформлять» советскую власть, как объяснил Марии. После выборов он перестал называть жену Марькой, сказал, что неудобно члена Совета окликать, как девчонку, надо поуважительнее.

— Да хоть горшком зови, только в печь не станови! — засмеялась Марька.

— И меня Ванюшкой не зови, а то ты и при людях забываешься.

— Ну, смотри, как сразу остепенился, только властью стал!

— Точно! Раз мы — власть, то и люди и мы сами себя должны уважать особо.

Иван отправился к лавочнику, добыл банку пунцовой краски.

На большом листе фанеры написал крупными печатными буквами:

САРБИНСКИЙ СОВЕТ КРЕСТЬЯНСКИХ,
СОЛДАТСКИХ, МАТРОССКИХ
ДЕПУТАТОВ

Повесил эту вывеску над бывшей конторой лесничего.

— Броско намалевал, председатель! — не то похвально, не то со скрытой насмешкой сказал кто-то в группе подгулявших мужиков, из любопытства собравшихся на улице. — Прямо огнем полыхает!

— Она и должна полыхать. Революция!

— Оно так. Да с огнем-то осторожность нужна...

— А без огня с голоду подохнешь, в избе от мороза окоченеешь! — отрезал матрос.

Мужики одобрительно подхватили:

— Верно, без революции теперь, как без огня, — и на печи не отогреешься! Потому — до костей трудовой народ-то за войну эту пробрало!

Одной вывеской Иван не удовлетворился. Требовалось водрузить еще красный флаг. Прибить древко к крыльцу над вывеской было бы

проще простого. Но моряк привык видеть флаг на мачте корабля. А если мачты здесь нет, то надо поставить!

Во дворе у Федотовых за избой лежал на покатых ствол лиственницы. Заготовлен он был еще перед войной, когда собирались разделить ее на бревна, подвести новые матицы в избе. Но Ивана арестовали, потом забрали на фронт, и лиственница осталась лежать до лучших времен. И долежала! Лучшей мачты придумать было нельзя. Когда Иван ударил по лесине топором, сухое дерево зазвенело, а топор отскочил, как от камня.

— Такая мачта сто лет будет стоять, а может и двести! — удовлетворенно произнес Иван.

— Не диво, — согласился отец. — Вон лиственничные столбы у ворот мой дедушко, сказывали, вкопал. Лиственница гнили не поддается. Хорошо высохнет — гвоздь не вобьешь. — И, помолчав, добавил: — Оно бы того... В бане стена совсем иструхла, холодом из-под полка тянет. Все собирался лесину эту туда подвести, да пожалел. Но для обозначения советской власти — забирай!

Вооружившись ломом и железной лопатой, Иван отправился рыть яму под мачту. Помощь звать не пришлось. Хоть и хмельные, мужики стали собираться возле: не терпелось узнать, что опять затеял матрос. Попеременно долбили ломком, выбрасывали лопатой мерзлые глыбы. Потом приволокли лесину. Иван достал из-за пазухи кумачовое полотнище, прибил его к деревку, а деревко укрепил проволокой на вершине лесины.

— Давай, подымай! Взяли, живо!

И когда захлопал, заиграл на ветру красный флаг, кто-то из мужиков задумчиво сказал:

— Да-а... На долгие годы это...

— Навечно, мужики! — заверил Иван, отходя полюбоваться на дело рук своих.

Крепко стояла лиственница, весело пламенело, трепыхалось высокое полотнище. Но чего-то вроде еще не хватало.

— Покрасить бы лесину, — предложила Мария.

— Ведь верно! — хлопнул Иван себя по лбу.

Он тут же сбегал домой, притащил тонкую жердинку, привязал к ней кисть и той же пунцовой краской, какой писал вывеску, принялся красить лиственницу. Банки еле хватило. Зато мачта поднялась будто еще выше, стала праздничной.

Отсюда, со всей деревни, была видна эта красная мачта с огненным флагом наверху. Глядя на нее, одни радовались, другие улыбались неуверенно, третьи недобро хмурились. И все напряженно ждали, как новая власть себя покажет на деле.

Ждать пришлось недолго. На первом заседании Совет вынес решение: произвести передел земли, урезать кулацкие хозяйства. Передел тут же отложили до весны, потому что земля — это земля, негоже было делить ее, бродя по суметам. Да и вообще это пока не сильно волновало мужиков. Хотя в притаежных здешних местах не было степного земельного приволья, однако и от малоземелья не очень страдали крестьяне. Бедняки, даже если они получали достаточный надел, не имели возможности его обработать. Купить коней, завести необходимый для пашни инвентарь было им невмочь. И ничего другого не оставалось, как сдать землю богатым в аренду, а самим идти к ним же батрачить. Да и тот, кто не батрачил, а с грехом пополам вел свое хозяйство, тоже часто попадал в кабалу. При нужде богачи охотно «выручали» односельчан, но заставляли отрабатывать долг в страду, когда день год кормит. Отработает должник у мироеда, а своя пшеница осыплется или в непогодь придется ее убирать.

Все это было отлично известно Ивану. И он предложил, чтоб Совет прежде всего конфисковал у богачей и передал беднякам тягло, скот и инвентарь.

Первым постановили «уравновесить» прасола Корнея Юдашкина. В годы столыпинской реформы он тоже, как и Борщов, поселился на отдельном хуторе, но только хутор этот стоял почти рядом с деревней. Жил прасол один со старухой, а хозяйство содержал и земли обрабатывал чужими руками столько, сколько иные полсотни дворов не осиливали.

Вторым в список внесли хозяйство Матвея Борщова. Этот земли не много обрабатывал, коней и коров тоже мало держал, а свиней еще по перевозимью сбыв. Зато мельница, маслобойка, шерстобитка и пихтовый завод ему жиреть помогали. Через них он многих мужиков и баб крепкой уздой обртал.

Юдашкин встретил комиссию смиренно. Внешне он вовсе не походил на мироеда. Маленький, сухонький, узкоглазый и почти безбородый старикашка. Борода у него была такая реденькая, что волос от волоса торчал далеко, а вместо усов по углам рта свешивались две тоненькие кисточки.

— Теперь хоть все подчистую забирайте. Ежели сын сложил голову во славу осподню... — крестьясь забормотал он, когда Иван объявил постановление Совета.

Единственный сын Юдашкина был великой надеждой отца. Еще до войны получив офицерское звание, он вышел в отставку, но семьей обзаводиться не торопился, все приглядывал себе невесту вровень, основательно вникал в хозяйство. Когда грянула война — и на войне он быстро пошел в гору, дослужился до штабс-капитана. Да под конец

не повезло, уже перед самой революцией продырявила его расчетливую голову шальная немецкая пуля.

И теперь вот старику ничего не оставалось, как уповать на волю божью.

— Сам осподь-бог велел беднякам помогать. И я завсегда, — сладко тянул старик.

— Завсегда? — усмехнулся Иван. — Только что-то не батраки твои, а ты сам жирел.

Корней насупился, но продолжал все так же смиренно:

— Ежели бы не содержал я батраков, оне бы с голодухи околели. Кого свое хозяйство не кормит, тому неминуче в батраках ходить.

— А мы вот сделаем иначе. Отдадим часть твоего хозяйства батракам и пусть они хозяйничают на земле сами! — сказал Иван. В душе у него даже шевельнулось что-то вроде сострадания к старику, очутившемуся под конец жизни у разбитого корыта. Но сознание, что хозяйство прасола выросло на нужде других, заставило его жестко закончить:

— И доброта твоя нам теперь ни к чему. Бедняки получают подмогу не по твоей или божьей воле, а по воле советской власти!

Степка Борщов, когда пришли национализировать мельницу, бухнулся Ивану в ноги, елозил по усыпанному мучным бусом полу, умолял, доказывал, что давно уж отделился от отца, что не богач он вовсе, никакого хозяйства у него больше нет.

Фроська, наоборот, разбушевалась вовсю. Она рвала на себе волосы, насканивала на Ивана с кулаками, истошно вопила, что он сживает всех Борщовых со света по наущению ведьмы Марьки. Матвей, мол, приютил голопузку в своем доме по доброте, а эта неблагодарная тварь возненавидела их ни за что, ни про что.

Ни Фроськины вопли, ни унижения Степки не повлияли, конечно, на решение Совета. Мельницу национализировали. Но Степку пришлось все-таки оставить на ней мельником. Не слишком сложно было следить за работой водяного колеса и жерновов, регулировать скорость и качество помола. Однако никто из мужиков не захотел овладеть этим делом, бросить свое, какое ни есть, хозяйство и перебраться на общественную мельницу, которая до сих пор была борщовской. А зерно молоть надо было. И поневоле поставили мельником Степку.

С Семкой же произошла стычка посерьезнее. На маслобойке, шерстобитке и пихтсовом заводе нашлись люди, которых поставили во главе этих небольших, но доходных предприятий. Да и не согласен был Семка работать на советскую власть.

— Не дождется Ванька-каторжанин такой потехи, чтоб я у него на побегушках служил! — яростно сказал Красавчик отцу, когда тот взду-

мал склонять его к мысли, что Степан, пожалуй, прав: под своим доглядом мельницу-то держит. И Семену бы, может, следовало пристроиться хоть на маслобойке, а он, Матвей, на хуторе один бы упрямился.

Ивану Красавчик открыто пригрозил:

— За башку теперь держись крепче! Не ровен час, потеряешь.

— На войне сохранил, так уж здесь как-нибудь уберегу! — ответил Иван.

Темным метельным вечером на той же неделе кто-то высадил из дробовика окно в доме Федотовых. Волчий заряд картечи мог бы развалить голову Ивана, но, к счастью, именно в момент выстрела он нагнулся, чтоб снять с ног пимы.

Иван, не мешкая, бесстрашно выскочил на улицу, однако под окном захватить никого не успел. Услышал лишь быстрый конский топот. Впрочем, сомнений не было, что покушался на жизнь председателя Сарбинского совдепа Семка: с той поры он надолго исчез.

Вскоре скрылся и прасол Юдашкин. Этот забрал с собой старуху, погрузил на пару подвод несколько мешков муки и зерна, бочку солиныны, одежду, домашнюю утварь и уехал, по-видимому, в какой-то таежный скит. Потому что на дверях своего крестового дома он хлебным мякишем прилепил клочок бумаги, на котором карандашом было коряво написано:

«Бог дал — бог взял... Воля осподня на все. Можя давно надоть было на пороге божьем предстать».

10.

Зимой от свету до свету часы длинные. До войны жгли в лампах керосин, и бабы сидели за прялками или ткали холсты и половики. А мужики ладили сбрую, чинили валенки, правили иную какую неспешную работу.

В войну, особенно в последние годы, керосину не стало. Мужиков в избах — тоже. Стыли они по окопам, многие сложили головы на чужой, неведомой стороне. Редко в какой избе жужжали теперь веретена, стучали челноки. Не до пряжи, не до тканья стало бабам, когда сверх своей нелегкой долюшки свалилась на плечи еще и тяжкая мужичья ноша. Темень и горе полонили Сарбинку, и время сделалось будто вовсе неподвижно.

Однако в эту зиму, как установилась советская власть, дни помчались один за другим наперегонки. И вечера будто сразу укоротились. Керосину стало еще меньше, не во всякой избе могли засветить даже махонькую «коптюшку», жгли лучину. Но если бы и вовсе не было

огня, люди не чувствовали себя придавленными темнотой. Потому что исчезла самая гнетущая тяжесть — объявлен конец войне. Возвращались домой солдаты, хотя и не все, хотя многие приходили покалеченные, а все ж таки детям — отцы, женам — опора, не сиротская впереди маячила доля. И за сыновей, которые подрастали, отпал страх, что тоже угонят гибнуть неведомо за кого. Клали головы за царя-батюшку, а оказалось — умнее вовсе скинуть его. Потом погнали за буржуйскую мощную воевать — скинули буржуев. И вот теперь даже добро ихнее, руками бедного люда нажитое, Советы истинным труженикам возвращали. И в самых бедных избах, где не было ни капли керосину, ярче всего и горел свет надежды. Там дольше всех «полуночники» хозяева, и так и этак обговаривали, с чего и как начать жить по-людски.

В Совете и вовсе с утра до вечера теперь толклись мужики, обсуждали, спорили, кто больше всех обездолен, кому в первую голову власть должна помочь. «Приструниванием» своих мироедов дело не ограничивалось. Волостной и уездный Советы тоже «укорачивали» богатеев. У крупных торговцев и торговых фирм новая власть конфисковала там запасы товаров, разный сельхозинвентарь, распределяла по деревням, и местным Советам предстояло раздать это тем, кто ничего не имел.

Многие мужики кинулись заготавливать лес. И на дрова, а главное — строевой. У кого за годы войны обветшали дома и надворные постройки, возникла нужда их выновить, кому хотелось поставить новые дворы для скота, выделенного Советом, а некоторые спешили запастись лесом впрок. Прежде-то не всякому было по карману купить билет в лесничестве. А теперь лес стал общим достоянием, не принадлежал, получалось, никому отдельно, а всем и каждому. Билетов пока никто не требовал, не продавал, и мужики не упустили случая воспользоваться «даровщиной». Понадобилось и тут срочное вмешательство Советов. Стали устанавливать норму, определять действительные потребности каждого хозяйства. И не раз и не два пришлось съездить на делянки, призвать кое-кого к порядку.

И надо было постоянно организовывать, отправлять в города подводы с хлебом, изъятым у богатеев. Далеко не все мужики отзывались на это с охотой, приходилось неустанно убеждать, втолковывать, на каком полуголодном пайке живут рабочие в Питере, Москве и в других городах России.

В общем, дел и забот у Ивана было с избытком.

Марии тоже хлопот хватало. Протопит до рассвета печь, испечет булку-две подового хлеба, сунет в загнетку похлебку иль кринку молока, чтоб оттопилось к обеду, — и можно «женсоветить», как шутиво называл ее деятельность Иван. Ну, коровенку еще подоить сбегает.

А уж ухаживал за коровой и конем свекор. После возвращения сына старый солдат словно помолодел, и сено задать, на водопой скотину сгонять стало ему посильно, даже необходимо.

— Чего я буду на печи-то бездельничать! Так и руки отсохнут, — говорил он сердито, когда Иван иной раз выкраивал минуты и сам управлялся со скотиной. — Пока могу — я свое дело делать буду, а вы свое правьте.

В самом Совете Мария появлялась не часто. Она шла туда, где собирались бабы. То у кого-нибудь в избе, то просто на улице. И заводили один и тот же разговор: у кого какая неминуемая нужда да как от нее избавиться. А потом, если находился выход, объявляла Мария бабий наказ Ивану.

Поначалу Иван не больно выполнял эти наказания. Казалось ему, что о мелочах твердит Мария: об одежонке ребятишкам из бедняцких семей, о дровах солдатам, о какой-нибудь развалившейся печке. Но Мария стояла на своем. У солдаток и многодетных, мол, ребяшня совсем голопузая, и выткать холстинки не из чего: лен-то сеять да обрабатывать было невмочь, руки не доходили. А лавочник мануфактуру припрятал. Надо конфисковать и раздать ребятишкам на штанишки да рубашонки. Или дрова. Тоже солдатских вдов да покалеченных фронтовиков нельзя с другими равнять. Пусть хозяйственные мужики, когда воз дров себе везут, второй завозят сиротам. А не хотят — вообще билета на дрова им не давать.

— Благодетельница ты, право слово! — отмахивался Иван. — Главное звено надо тянуть, а не мелочи.

И по-прежнему занимался только тем, что находил «массовой» проблемой. А уж если выполнял бабьи требования, то не иначе, как «единым махом». Ехал в волисполком или уезд, добивался там права на реквизицию мануфактуры у лавочников, привозил ее в Совет и объявлял — это бедноте! А кому и сколько — тут уж Марьино дело было разбираться.

С коровами тоже. Именем советской власти забрал у богатеев «излишек рогатой живности», а Мария с бабами решай, какой семье буренка «наинужнее».

А Марию «малые частности» больше всего и задевали за душу.

Через три подворья от Федотовых жили переселенцы-вятичи Голубцовы. Приехали они на Алтай уже много лет назад. Перебিরались здесь из деревни в деревню, но всюду жили неприписными. Везде во главе «обчества» были кулацкие воротилы, и вольной земли для «голи перекатной» не находилось.

Если бы еще Тит Голубцов владел каким-то серьезным ремеслом — кузнечным, плотничьим, печным, — может, и нашелся бы надел. Но

сына
котину
ут, —
и сам
, а вы

де со-
води-
от нее
бабий

у, что
их се-
о Ма-
овсем
баты-
рипря-
руба-
виков
а воз
лета

Глав-
овой»
е, как
ва на
бъяв-
было

«из-
урен-

у.
и Го-
ались
де во
«голи

ом —
л. Но

мужик умел плести только лапти да рогожи. А в Сибири лапти не носили, незачем было их плести. К тому же собой был хилый, а ребятни наплодил кучу — шестеро мал мала меньше, все бегали голопузыми. Случись грех, отдай Тит богу душу — обществу содержать сирот. И деревенские заправилы норовили избавиться от «лапотника».

Даже батрачить Тита и Марфу не брали напостоянно. Ходили они только на самые невыгодные поденки.

Мария настояла, чтобы Голубцовым в первую очередь выдали корову. Она сама повела буренку к хате одинокой старухи Акулины, которая из жалости приютила «сирых».

Корову Мария привязала к крыльцу. Потому что пригиошишко у Авдотьи весь развалился, пользовались им как отхожим местом. Старуха жила не хозяйством, а «милостью усопших». Обмывала, обряжала покойников во всей округе, вела по ним причитания. И за это получала от родственников умерших еду и одежонку, часть которой перепадала и голубцовской семье.

Тит и Марфа вышли в сенки, стояли в распахнутых дверях, удивленно смотрели, как Мария привязывает корову. Из-за спины отца с матерью выглядывали любопытные мордашки ребятишек.

— Чего не выходите, хозяева? — сказала Мария. — Идите, поглядите, какова ведерница.

— Чужу-то чего разглядывать? — вяло произнес Тит. И так же вяло спустился все-таки с крыльца.

Вслед за мужем, пряча руки под холщовый дырявый фартук, спустилась Марфа. Сказала безразлично:

— Гладкая. И, чать, удойная — соски-то растопырены.

— Значит, глянется скотинка? Тогда распишись, хозяин, — протянула Мария Титу ученическую тетрадку и карандаш.

Голубцов отшатнулся. — В чем расписываться-то?

— Как в чем? Вот видишь, в списке. Что получил корову, выделенную советской властью.

Тит отступил еще дальше, захлопал серыми, рано выцветшими глазами.

— Ты погоду. Нам, гриш, корову? А как мы за ее расплатимся?

— Не надо расплачиваться. Совет выделил ее задаром. Потому как ребят малых много.

— А где Совет эту корову взял?

— Забрал у просола Юдашкина.

— О, с Юдашкиным оборони бог связываться! — испуганно пере-крестилась Марфа. — Со свету сживет!

— И не связывайтесь, ежели такие трусливые. Не вы конфисковали, а Совет.

— Так-то оно так... Однакось... — почесал затылок Тит.

— И не для тебя, а для ребятишек твоих Совет корову выделил, чтоб не голодали. О тебе-то, трусе таком, заботы мало, — рассердилась Мария. — Ну, а хочешь детей обездолить — черт с тобой! Найдем, кому скотину передать, не одни ваши ребятишки без молока сидят.

И стала отвязывать буренку.

Тогда Марфа вцепилась в мужа.

— Титушка! Распишись, ты ж умеешь расписываться-то... Для де-тушек ведь, слышь! Вины нашей, стало быть, мало...

— Оно так. Ежели для ребятишек... — пробормотал Тит и потянулся к тетрадке.

Руки у него тряслись, все тело мелко вздрагивало, когда он царапал в списке свои каракули.

Мария мысленно сравнила Тита со своим Иваном и рассмеялась.

— А если б тебе, Голубцов, довелось с винтовкой советскую власть оборонять? Напустил бы, поди, полны штаны!

— С винтовкой ино дело! — оскорбился Тит. — Ежлив за правду еще — и голову не страшно положить. А тут вроде чужое присваиваешь.

— Тогда ты не просто трус, а глупый! Юдашкин разжирел на трудовом поту таких, как ты, поденщиков да батраков, а ты робеешь свое же, горбом заработанное, у него забрать!

— Оно вроде так... Ежели подумать-то...

— Вот и подумай хорошенько! Авось разберешься и посмелее станешь. А то, поди, и самому противно с такой робкой душонкой на свете жить.

— Подумаем, подумаем, Мария! — пообещала за мужа Марфа, неуверенно глядя сытую спину буренки.

— Сена охапку пока у нас возьмите. А там совет мужиков нарядит, от того же Юдашкина, сколь требуется, привезут.

Когда спустя неделю Мария снова заглянула на Акулинино подворье, пригон был подремонтирован, обмазан глиной. Слеги уже не торчали, как ребра обглоданного зверьем скелета. Поверх их ровным, будто причесанным стожком было сложено воза три сена. В пригоне сытно пыхтела корова.

«Стараются. Знать, не за чужую теперь буренку принимают», — улыбнулась Мария. Зашла в избу.

На лавке возле русской печки сидел зареванный карапуз. Ножонки у него едва не до колен были заляпаны свежим коровяком. Перед лавкой в телячьем восторге скакали, кривлялись босоногие братишки и сестренки карапуза. Сам Тит сидел на табурете у стола и хохотал, гукая, как большой ребенок.

А Марфа ухватом тащила из печи чугуны с горячей водой. Лицо ее расплывалось в улыбке, а по щекам катились слезы.

«Что все это значит?» — в недоумении остановилась Мария у порога.

— Проходи, проходи в передний угол, дорогая гостюшка! — пригласила Марфа. — И объяснила: — Оголец-то мой, вишь, уляпался как? Выскочил по нужде в пригон, забыл, что там ныне коровушка, и влетел прямехонько в свежую лепеху. Остерегаться-то, под ноги глядеть не привыкли — сроду коровы-то во дворе не бывало...

Марфа плеснула кипятку в лоханку, разбавила холодной водой, опустила возле карапуза на колени.

— Давай ужю, обмою! Только надо бы подоле тебе так посидеть, тогда бы стал поглазастее.

И, обмывая ножонки ребенка, вдруг захлюпала носом, и слезы хлынули по щекам.

— Марфа, ты чего это? Ну, подумаешь, малец измазался...

— Да не потому я реву!.. Запах-то, слышь, запах-то какой по избе плывет! Скотинкой ведь пахнет, милочка!.. Душа и переворачивается...

У Марии тоже навернулись слезы.

Ребятишки притихли, вылутили глазенки, стараясь уразуметь, отчего заплакали мать и тетка Мария.

— Дура, ей-бо, дура! — сказал Тит. — Радоваться надо, а не слезы точить...

А голос у самого тоже дрожал.

11.

Май стоял благодатный. Солнечный, теплый. Однако не сухой, как это нередко случается в здешних местах. Через каждые три-четыре дня, словно по заказу, приплывали, обычно ночью, грузные тучи, проливались обильным дождем. А утром солнце сияло еще щедрее, небо голубело ярче, и досыта напоенная земля парила, будто курилась легким дымком.

Трава росла на диво быстро — за полмесяца поднялась до колен. Рожь хорошо перезимовала, мощно кустилась. И пшеница всюду встала густой светло-зеленой щетиной.

Мария чувствовала себя такой счастливой, что порой сердце от волнения заходило. Особенно с той поры, как открылось, что у них с Иваном будет ребенок. Только беда надвигалась быстрее, чем росла трава.

В первых числах июня в Сарбинку прискакал из волисполкома голец. Сказал, что белочехи захватили всю сибирскую железную дорогу,

что в Барнауле офицеры подняли восстание и красногвардейцы с боем покинули город. Советская власть держалась, дескать, только в Москве, Питере и по другим большим городам за Уралом.

Волостной комитет партии отдал распоряжение — всем большевикам скрыться пока, кто и где сумеет. Иван ушел на таежную заимку. Мария тоже хотела отправиться за ним.

— Куда ты в тяжести-то! Оставайся с батей. Неужто над стариками да бабами станут изголяться. Помнит же, поди, офицерье, что мы, когда переворот делали, их дамочек не трогали. Да и самих господ за глотку брали только тех, кто лез на нас с оружием.

Свёкор тоже уверял, что он хоть и на деревяшке, но все-таки бывалый солдат и сумеет в случае чего заступиться. Никакой офицер не посмеет покуситься на георгиевского кавалера, когда заслонит он невестку.

— Костями лягу, а тебя, сношенька, в обиду не дам! — поклялся старик.

Поначалу беляки и впрямь в Сарбинке не особо лютовали. Лишь столб красный повалили, распилили на чурбаки, покололи на поленья и сожгли тут же на площади. Да еще староста Елисей, вновь вернувшийся исполнять свою должность, вместе со вновь поставленными милиционерами из волости обошел бедняцкие дворы, отобрал коней и коров, весь инвентарь, которые были выделены Советом. Все это вернули прежним хозяевам, богатеям.

Возвратился в Сарбинку и прасол Юдашкин. Но уже один. Старуха его померла в скиту. Простыла ли дорогой или скрутила ее хворь с горя, только пожила она там не больше недели. А прасол, прознав, что опять установилась «хозяйская» власть, отказался от недавнего намерения провести остаток дней «у божьего порога».

— Раз для жизни повернула, я тоже должен повернуть, — объявил он по возвращении на хутор. — Ежели одного сына осподь забрал, так он же может одарить другим. Не вовсе я дряхлый, солдаток сырых много. Шибко молодую мне ни к чему, но возьму детородную. А заведется сын — будет кому и добром моим пользоваться.

По бедняцким дворам слышались только бабий рев да бессильные проклятья мужиков. Утешались тем, что Сарбинку еще бог миловал. В волости, сказывали, расправлялись круче. Там многих мужиков угнали в город, в тюрьму, забрали и женщину — учительницу. А Марию здесь не трогали.

— Счастье твое, что для себя ничего не нахапала: ни коня, ни коровы, никакого барахла у самостоятельных хозяев не уворовала, — сказал один из милиционеров, бугаистый, угрюмый дядька. — Староста так показывает, ежели не покрывает...

— Упаси бог покрывать сатанинских прислужников! — заезжил перед милиционером староста. — Всем ведомо — отбирал ейный матрос добрых хозяев и коней, и коров, и плуги, и прочее. Марья по голытьбе распределяла, я в тайности следил, все учитывал. Нет, к рукам у ней ничего не пристало...

Бугаистый милиционер недобро оглядел Марию с головы до ног, словно решая, оставить ей жизнь или пристукнуть на месте. Видимо, он охотнее сделал бы последнее.

Лишь много спустя Мария узнала: милиционерам было приказано не трогать ее до особого указания.

Но свекор уверился, что и староста и милиционеры придерживаются все же справедливости.

— Болтают, что совесть ноне осталась только у бога да у цыган немного. А гляди-ка, даже у беляков какая-то кроха завалаялась, — скручивая очередную козью ножку, сказал он.

Хотя и миновала пока Сарбинку жестокость беляков, все равно тревожно жило село. Для Марьки же будто солнышко потухло. Выйдет она на крыльцо, глянет на улицу, а там — пусто. Нет красного столба с полотнищем наверху. И сердце охватывает стынь: нет больше народной власти, вернулись прежние господа.

Но в России-то советская власть стояла! И Иван и другие мужики ушли в тайгу не для того, чтоб навсегда там скрыться, а для того, чтоб вернуться, отвоевать свободу и сбросить беляков. Так написал Иван в записочке, которую переслал с парнишкой-старателем.

Парнишка обсказал Марии, что встретился с Иваном в тайге ненадолго, когда искал с отцом золотишко. Но Марька сразу сообразила, что было не так. Иван нарочно послал к ней парнишку, который не вызывал подозрений. Этот парнишка-старатель и при советской власти частенько наведывался в деревню: у него жила тут зазнобушка.

Да и не хитро было догадаться, что это посыльный. Парнишка сам выдал себя тем, что стал отчаянно врать, когда Мария поинтересовалась, где он встретил Ивана. Будто ничего он не запомнил, ни дороги, ни тропочки туда не найдет.

— Какой же ты после этого старатель? — усмехнулась Мария. — Ты вовсе круглый дурачок. Не только в тайге, а и в огороде средь подсолнухов заблудишься!

— А чего? Ежели подсолнухи густые да с кралей под ручку — можно и поплутать! — осклабился парнишка.

— Ух ты, сопляк, ведь соображает! — рассмеялась Мария. Но тут же сказала строго: — Отвечай правду! Не то я вцеплюсь в тебя и пока до места не доведешь — буду висеть, как клещ на собачьем ухе!

Парнишку испугала такая решительность. Он выпалил:

— Мне тогда голову в отряде оторвут на умывальник!

— А-а, значит ты в отряде?

Парнишка понял, что проговорился, горестно махнул рукой.

— В отряде.

— Так чего ж ты передо мной-то хитрил? Неужто боишься, что выдам?

Видя, что окончательно запутался, парнишка рассказал Марии, что командиром у них Иван, но он наказал ему ни в коем случае не говорить, где находится отряд, потому что опасается, что она немедля явится в тайгу. А жизнь там тяжелая, для нее вовсе не подходящая...

Парнишка смущенно покосился на живот Марии.

— Сразу бы так сказал. А командиру своему передай: пусть бережется. Начальником милиции, сказывали, заделался Семка Борщов. И, болтают по деревне, он поклялся угробить Ивана.

— Это еще посмотрим — кто кого!

— Все ж таки предупреди. И скажи: как тебя звать?

— Так тезка я.

— Какой тезка? — не поняла Мария.

Парнишка объяснил. Но тут же не утерпел, высказал огорчение, что все-таки партизаны чаще зовут его не Иваном, а Ванюхой.

— Чтоб не путать нас, наверное...

Мария рассмеялась:

— Чтоб не путать? Ох, уморил! Да я бы тебя не только днем, а самой темной ночью мигом отличила. Прислонилась бы, а борода не колется, — она провела ладонью по гладким щекам парнишки.

Ванюха вспыхнул маковым цветом. Сказал басовито:

— Уцелеет голова — отрастет борода!

Мария сразу посерьезнела. Спросила, что еще наказывал Иван передать ей. Собрала ему смену белья, пообещала завтра спозаранок испечь для Ивана любимых его шанежек с толокном. Но чтоб не вызвать у кого-нибудь подозрений, пусть парнишка не заходит в дом. Котомочку она заранее вынесет, оставит у бани в огороде. Баня у них стоит у оврага, ему там легче незаметно уйти, потому что не тракторной же дорогой он в тайгу направится.

Ванюха даже присвистнул — так восхитила его сообразительность Марии.

— Верно? Ну вот, вперед от меня ничего не скрывай! Ивану это же передай. И еще скажи: ежели понадобится, приду к вам, хоть утаивайте дорогу, хоть нет. Иван знает, в тайге я не заплутаюсь и берданкой пользоваться умею не хуже мужиков.

За лето Ванюха побывал в Сарбинке не раз. Впрочем, отряд Ивана частенько давал о себе знать не только через посыльного. Партизаны нападали на милиционеров то в одной деревне, то в другой, отбирали у них оружие, расправлялись с теми, кто чинил зверства.

А зверствовали беляки все сильнее и сильнее. Чтоб воевать за Уралом против Красной Армии, нужны были солдаты. А мужики и парни не хотели добывать победу для офицерни и буржуев, разбегались, скрывались от мобилизации в тайге. Их ловили, нещадно пороли. Но армию надо было еще и кормить, а добровольно припасы поступали плохо. И милиционеры стали отбирать у крестьян хлеб, сало, масло, а в обозы — коней с упряжью. За неповиновение опять пороли плетью, бросали в каталажки.

Однако крутые расправы привели народ не к повиновению, а к сопротивлению.

В октябре вспыхнуло восстание в волостном селе Высокогорском. Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, послужило то, что было объявлено о сдаче военного обмундирования всеми бывшими солдатами, которые не подлежали мобилизации по возрасту или тяжелому ранению. Это страшно оскорбило фронтовиков.

— Я не арестант, чтобы у меня даже ремень отбирать! — взорвался один из закаленных солдат. — Четыре года за царя-батюшку в окопах вшей кормил, кровь в боях проливал, так неужто ни шинели, ни ремня не завоевал?

Милиционеры скрутили непокорного, для «вразумления», для примера другим учинили сначала принародную порку, потом полуживого уволокли в кутузку.

А ночью мужики перебили милиционеров, захватили склад оружия и снова водрузили красный флаг над волостным правлением. Однако оружия было мало — всего три десятка винтовок. Пришел карательный отряд и на третий день подавил восстание.

Страшную расправу учинили на этот раз над мужиками. Всех, кого считали большевиками и зачинщиками, повесили на базарной площади, а остальных повстанцев расстреляли.

Марии передали, что отряд Ивана вышел из тайги и тоже вел бой с карателями. Отряд весь побит, а уцелел ли сам Иван — неизвестно: зарубленных трудно опознать. Трупы каратели свалили возле пожарной каланчи: пусть, мол, забирает и хоронит родня.

Мария решила немедля отправиться в волость. Свекор попытался удержать ее:

— Не бабье это дело такие ужасы смотреть! Ежели и впрямь Ива-

нушка голову сложил, да выпытывать вздумают о партизанах, так мне способнее стерпеть, — уверял он. — И дочку тебе надо сохранять.

Неделю назад у Марии родилась девочка, Танюша, как назвали они ее со свекром. Оставлять такую кроху одну даже на день было боязно и взять с собой нельзя. Мария сама была еще слишком слаба. Пятнадцать верст до волости и обратно с ребенком на руках она не сумела бы одолеть пешком. Своего коня Иван забрал в тайгу, а на попутчиков нынче рассчитывать не приходилось.

Разумнее было остаться дома. Но и свекор до волости на деревяшке не мог дошагать. Ему неизбежно довелось бы упрашивать кого-то из односельчан запрячь хотя бы какую-нибудь клячу, потому что добрых лошадей колчаковцы отбирали. И Мария не стала обдумывать, как разумнее поступить. Торопливо накинув на плечи старую шубейку, а на голову — вытертую шаль, бросилась к двери, оставив свекра у зыбки.

Почти всю дорогу до волости она одолела полубегом, хотя и сама не замечала этого и никогда бы не поверила, если бы кто-то сказал такое.

У пожарной каланчи, верно, лежали рядами трупы. У Марии все оборвалось внутри.

Красномордый часовой, поставленный для наблюдения за родственниками убитых, — трупы к чему было охранять? — сказал пропитым голосом:

— Гляди давай, который тут твой!

Наверное, он всем, кто приходил сюда, говорил это. Но Марии показалось — он точно знает, что Иван лежит здесь.

Сама полумертвая, она склонилась над одним трупом, осмотрела второй, третий... Некоторые мужики были сильно изуродованы, лица у них порублены шашками, двое лежали вовсе без головы, а головы валялись поодаль, у крыльца пожарки. Кто-то из карателей, видимо нарочно, бросил их туда в грязную, застывшую теперь лужу.

Марии страшно было до тошноты. Но она оглядела всех — человек семьдесят убитых, не меньше. Ивана среди них не оказалось.

— Не нашла? — осклабился каратель. — Тогда вон на весы погляди. Там, поди, болтается!

Мария глянула, куда указал мордастый, и едва сознание не потеряла.

Посреди базарной площади возвышался тесовый навес. Под навесом стояли громадные балансовые весы с тяжелыми железными крючьями, которыми подцепляли при взвешивании мясные туши, когда купцы-оптовики скупали их у крестьян. Теперь на весах болтались люди. Они были подцеплены острыми крючьями под подбородки и погибали, очевидно, мучительной медленной смертью.

Их было четверо. Трое уже скончались, только ветер тихонько раскачивал трупы. Четвертый был еще жив. Тело его вытянулось, босые ноги упирались пальцами в землю. И как же долго человек корчился, крутился, если вывертел ногами яму в твердом, утрамбованном грунте под собой!

Вчера шел дождь, а ночью, как это нередко случается в октябре, ударил мороз. Сквозь прохудившуюся крышу навеса вода натекла в яму под ногами повешенного, а потом застыла, покрывшись толстой коркой льда. Ноги умирающего мученика вмерзли пальцами в этот лед, но колени еще жили, дергались. Будто человек чувствовал, как страшно, нестерпимо озябли у него ноги, а освободить их из ледового плена сил уже не хватало...

Мария сразу узнала казненного. Это был плотник из Сарбинки, Еремей Ипатов.

— Батюшки! — прошептала она. — Еремея-то за что так?

— За что? Видишь, за санку подцепили! — хохотнул каратель.

— Господи, я не о том! Еремей ведь даже в Совете не был, Прасковья его прогнала...

— Он таскался по деревням от партизан лазутчиком! Давно заметили: сначала он с топоришком появляется, а потом живчиком — партизаны.

— Да нет, это неправда! Его бы Прасковья сроду без дела шляться не отпустила. У него шестеро ребятишек, некогда шляться, кормить их надо...

Последние слова Марии заставили часового оборвать хохоток. Возможно, у него у самого были дети и проняло-таки, что шестеро сирот осталось. И он, помолчав, сказал совсем другим тоном, серьезно:

— Оно кто его знает... Сказывали тут, дошлый был мужичонко, в обиду себя не давал. Свояка волостного старшины, болтали, из дому чуть не выжил — беса свербящего подсунул...

Но человеческое сострадание лишь на минуту коснулось часового. Тут же он опять загоготал:

— Вот его самого и заставили, плотничка хитроумного, крутиться по-бесовски на крючке!

Ивана среди подвешенных тоже не было. Значит, соврали, не попался он в руки карателей.

Но душу Марии так опустошило все увиденное, что она не в силах была даже обрадоваться этому. Ей сделалось совсем худо.

— Ну, опознала?

— Нету здесь моего...

— А коли так — уматывай поживее, пока господина поручика тут нет, — в голосе часового опять на мгновение промелькнуло что-то

участливое. — А то он полюбопытствует, где твой разлюбезный, ежели тут его нет! — и снова гадкий хохот. — Тогда ты, бабонька, не только лицом посереешь, как час, а позеленеешь всей шкурой!

Мария поспешила уйти.

Как она добралась до Сарбинки, до дому — не помнила. В памяти осталось только одно: всю дорогу страшно зябли ноги, будто пальцы вмерзли в лед...

Всю ночь после этого Мария металась, бредила. Похоже было, что свалил ее тиф или прицепилась злая простудная горячка. Свекор не знал, что и делать: то ли баню топить, простуду из невестки выгонять, или, наоборот, холодными полотенцами обкладывать. Не решился ни на то, ни на другое, лишь поил Марию малиновым отваром, когда она, минутами приходя в себя, просила пить.

Утром Мария так же неожиданно, как и свалилась, успокоилась, охотчательно пришла в себя. Со светом поднялась бледная, слабая, но здоровая.

Свекор впервые подумал, что если сноха и не колдунья, то уж во всяком случае — заколдованная.

13.

Опасаясь, что крестьянские восстания вспыхнут снова, каратели не ушли обратно в город, а остались на зиму в Высокогорском. Часть белого отряда расположилась на постой в Сарбинке.

Теперь вовсе стало мало надежды узнать, где Иван, что с ним. За двором Федотовых постоянно следили, часто проверяли — нет ли долгожданного гостя? Скоро стало ясно: Марию не арестовали и не пытали вовсе не потому, что она ничего из конфискованного себе не взяла, как объявили милиционер со старостой. Ее оставили на свободе в качестве приманки. Ждали — все равно когда-нибудь явится к ней неуловимый матрос, тут и прихлопнут, как в мышеловке. Особенно возросла опасность, когда в Сарбинку перебрался из волости Семка Борщов.

После восстания в Высокогорском, когда партизаны Ивана вместе с мужиками перебили милиционеров, Семка успел вскочить на коня, стреляя направо и налево, прорвался мимо наседавших на него мужиков и скрылся в ночной темноте.

Вернувшись с карателями, Борщов люто взялся наводить порядок. И вот теперь приехал в Сарбинку, обосновался здесь. Уж не раздобыл ли Семка какие-нибудь сведения, что именно теперь следует ждать появления Ивана домой? Но если и нет у Семки никаких сведений о Иване, все равно ведь он соображает, что если жена родила, то отцу захочется хоть разочек посмотреть на своего первенца.

Никогда еще Мария не жила в таком страхе, в постоянном, ежеминутном ожидании развязки.

Предупредить Ивана не удалось. Он явился домой внезапно. Не темной ночью, как предполагала Мария и как ожидали, наверное, колчаковцы, а утром. Матрос придумал простой и ловкий способ незамеченным проникнуть к дому.

Он выбрал время перед восходом солнца, когда бабы затопили уже печи и пошли доить коров, а мужики, которых не торопили полевые работы, еще потягивались на кроватях и полатах. И уж, конечно, дрыхнули колчаковцы. До полуночи они пьянствуют, тузятся в карты, шатаются по вдовьим хатам, а под утро спят беспробудно. И часовых на постах смаривает утренний сон, притупляется у них осторожность, не так уж боятся, что партизаны подкрадутся и снимут на свету.

Из лесу до Сарбинки, чтоб не наткнуться на засаду на дороге, Иван спустился в плоскодонке вниз по течению реки, которую еще не сковало сплошным льдом, но покрыло уже густой шугой. Шуга сильно шумела, и это было на руку, не приходилось опасаться, что кто-то услышит плеск весел. К берегу он пристал без помех, воткнул в песок кол, накинул на него петлей веревку, дабы не отвязывать ее в случае поспешности, а сразу скинуть и уплыть.

Дальше тишину он тоже не стремился соблюдать. Наоборот, достал из кармана ботало и, позвякивая им, пригнувшись пониже, пошел тропкой от реки прямо к своему дому.

В утреннем морозном тумане смутно различалось, кто тут идет, но ботало бабы и мужики, если бы поднялись по нужде раньше обычного, конечно, слышали. И наверняка должны были решить, что это ни свет, ни заря гонит свою коровенку с водопоя Гошка-Звякало.

Жил в Сарбинке недалеко от Федотовых такой мужичонка. Малость не в уме, он страшно любил всякие колокольцы, бубенцы, ботала. Лошаденке своей разве только на хвост не вешал бубенцы, а на шею у нее, на дуге и даже на оглоблях всегда звенело несколько штук. А корова у него и зимой гремела боталом. При встречах ребятня потешалась над Гошкой, взрослые тоже насмешливо звали его Звякалом, но в общем-то все давно привыкли к чудачествам безобидного мужичонки, мало обращали на него внимания.

Этим и решил воспользоваться Иван.

Мария, доившая буренку, тоже слышала позвякивание ботала. И верно, сразу решила, что это Звякало сдуру выгнал коровенку к реке еще в потемках. Подивилась лишь тому, отчего ботало звякает совсем близко от их двора, ведь Гошка живет дальше. Впрочем, рассудила тут же: чего с дурака взять? Заплутался, поди, в тумане и гоняет коровенку по переулкам.

Но вот ботало затихло, и Марии почудилось, будто кто-то крадучись прошел огородом возле пригона. Определила она это по тому, как на мгновение заслонилось окошечко, а затем хрустнула сухая жердинка, будто кто перелез через прясло, отделявшее огород от дома.

«Не Иван ли?» — прежде всего пронеслась в голове тревожная мысль.

Но нельзя было поверить, что Иван придет на рассвете, а не ночью. И Мария решила, что это крадется колчаковец. Однако тоже не из тех, что подкарауливали мужа.

Уже несколько вечеров возле дома Федотовых увивался, как говорят, висел на заборе смазливый солдат с игривым клоком смоляных волос, торчащих из-под фуражки. Балагурил, подмигивал масляным взглядом, пытался поближе завязать знакомство. И теперь, похоже, крался, чтоб рискнуть облапить ее при выходе из пригона. Но Мария была всегда настоюще.

— Ну, погоди, мерзавец, угощу я тебя!

Для начала она приготовила выплеснуть прямо в лицо нахала молоко из подойника. И, пока он будет приходить в себя, убежать в избу. На случай же, если погонится, огреть увесистой палкой, которой заранее вооружилась.

Но едва она приоткрыла воротца и приготовилась к задуманному отпору, как услышала полусшепот:

— Не пужайся, Мария...

Она сразу узнала голос. Но прозвучал он для нее столь неожиданно, что Мария не могла уже остановить руки и все-таки выплеснула молоко.

— Ты что это? — уже громче произнес Иван, отшатнувшись. Сдурела нешто — всю доху молоком облила!

Бросив подойник, Мария кинулась к Ивану, обняла его за шею.

— Ей-богу, дурная стала.

Он хотел еще что-то сказать, однако Мария прикрыла ему рот ладонью, прошептала в ухо:

— Тише! Стерегут тебя... Уходи, уходи скорее!

— Знаю! Только надо мне дочь поглядеть, бате показаться.

— Ой, боюсь я, поймают, — прошептала опять Мария в ухо Ивану.

Он поцеловал ее, успокоил:

— Не поймают! Я только гляну и сразу уйду...

Они торопливо прошли в избу.

Отец, будто учуяв, что сын войдет в эту минуту в дом, стоял у дверей. Он молча обнял Ивана и, постукивая деревяшкой, сразу вышел во двор. Иван и Мария поняли: старик отправился на караул, чтоб успеть предупредить сына, если каратели покажутся вблизи.

Мария поднесла к зыбке мигалку. Иван сосредоточенно, словно на всю жизнь запоминая, рассматривал розовое личико дочки, пыльные оттопыренные губенки, которые, причмокивая, сосали тряпочку с завернутым в нее хлебным мякишем.

— Глазенки хоть бы открывала...

— Точь-в-точь твои! — прижалась Мария щекой к плечу мужа.

Но тут же, как бы очнувшись, сбросив с себя сладкий сон, потребовала:

— Ну хватит, хватит любоваться! Уходи немедленно, пока туман не уплыл. Не то и сам пропадешь и нас загубишь. Глазу, гады, не спускают, следят денно и ночью...

— Ладно, давай еще обниму тебя напоследок! — Иван притянул к себе Марию так, что она едва не задохнулась. — Эх, судьба наша неласковая, темная! Но ничего, добудем и светлую.

Туман начал сползать из деревни к реке. Медное ботало уже не могло помочь Ивану, и он, выходя во двор, протянул его Марии.

— Держи на память!

— Так это ты шел с боталом-то? — прошептала она изумленно. — А как же обратно?

— Обратно батя поможет мне уйти. Пусть он гонит на водопой корову, а я возле как-нибудь притулюсь.

Старый солдат ничуть не удивился предложению сына, лишь сказал:

— Надо живенько собрать чего-то из еды, из одежды.

— Это я живо! — метнулась в куть Мария. — И еда и одежда у меня теперь всегда припасены.

Свекор выгнал в переулок буренку. Иван пригнулся, пристроился возле коровьего бока. В рыжеватой дохе его вполне можно было издали принять за подтелка.

Так они и отправились к реке в утренних, быстро светлеющих сумерках.

Переминаясь с ноги на ногу, как на раскаленных углях, стояла Мария на крыльце. Ждала переполоха, стрельбы. Но все было тихо, только подойники звенели в соседнем дворе — бабы доили коров; старуха и сноха там в разладе, каждая доит свою буренку. Значит, опять удалось Ивану уйти от смерти!

И хотя Мария сознавала, что муженек ее совершил бесшабашный поступок, за который следовало его осудить, она не только не осуждала, но и гордилась своим отчаянным до дерзости матросом. Особенно в ту минуту, когда свекор, подгоняя коровенку, благополучно вернулся обратно.

И когда на крыльцо соседского дома вышел Семка Борщов и, потягиваясь, крикнул старику:

— Прямо сдурели все ныне! Я думал, один Гошка-Звякало в потемках корову на речку гоняет. А и ты супротив его малость припоздал.

Выходило, Семка рядом затаился, не спал, конечно, всю ночь.

Мария обеими руками крепко прижала к груди запытанное под кофту коровье ботало.

14.

При расставании Иван не сказал Марии, что они не увидятся теперь долго. Наверное, не захотел омрачать и без того тревожные и короткие минуты свидания. Но отцу, прощаясь у реки, объяснил: отряд понес тяжелые потери и вынужден временно прекратить боевую деятельность. На зиму решено уйти в тайгу, вглубь. Место выбрали надежное, карателям трудно обнаружить. А если и обнаружат, то не сунутся: с трех сторон горы да чащоба непролазная, а с четвертой незамерзающее болото, пар над которым в морозы клубится, как над чугуном с картошкой.

С продуктами обстояло похуже. Но мукой и солью запаслись, на мясо думали повалить в стужу коней. Жалко, однако кормить их все равно нечем, не ждать же, когда сами околеют.

Так что Иван приходил домой попрощаться.

Вскоре покинул Сарбинку и Семка-Красавчик. Перебрался опять в Высокогорское. Тоже, очевидно, получил откуда-то сведения, что партизаны ушли в таежную глухомань. А возможно, побоялся проворонить лакомый кусок.

Высокогорское издавна считалось торговым центром. Немало здесь жило купцов, лавки которых были раскиданы по многим селам и деревням Присалаирья. Но после крестьянского восстания, хотя и было оно подавлено, некоторые купцы сочли за благо убраться отсюда, уступали свои лавки и заведения за полцены. Разве не резон был Семке воспользоваться моментом?

Снялись с постоя, перебрались в волость и каратели. Бабы и девки опять не боялись выйти на улицу, а те мужики и парни, которые скрывались по заимкам от мобилизации, стали временами появляться в своих семьях.

Мария со свекром в эту зиму жили одной Танюшкой. Не будь ее, все равно бы источила тоска-тревога по Ивану, угнала Марию к нему в тайгу, а свекра наверняка бы свела в могилу. Старик и так еле бродил, с трудом переставлял свою деревяшку. Оживал он лишь возле внучки, когда качал ее в зыбке или тетешкал на руках, приговаривая:

— Ну-ка лепетни: батя, батя!

Уж больно хотелось старому, чтоб Танюшка произнесла первым именно это слово.

Зиму пережили. А едва сошел снег, партизаны вышли из тайги. Отряд их быстро пополнялся парнями и мужиками, скрывавшимися от колчаковской мобилизации.

Омский правитель, войско которого начала трепать за Уралом Красная Армия, испугался за свой тыл. Карательные отряды были срочно пополнены живой силой и оружием. Офицеры получили приказ немедля и беспощадно подавлять любую попытку крестьянских бунтов, дабы не дать разгореться огню всеобщего восстания.

Но чем больше лютовали каратели по селам и деревням, тем шире и быстрее катилась по всему Причерной волна крестьянского восстания. Чуть не каждый день в Сарбинку поступали вести, что партизаны налетели то на одно, то на другое село. В одном месте перебили колчаковских милиционеров, в другом — разгромили кулацкую дружину. Отрядов появилось много, а оружия было мало, и партизаны поневоле добывали пока винтовки в мелких стычках с беляками.

Об отряде Ивана, лихого красного матроса, Мария слышала особенно часто. Но самому Ивану побывать дома возможности не было. В Сарбинке с весны опять расположились каратели во главе с поручиком Куницей, вышибить их у партизан сил пока не хватало, а одного Ивана товарищи не отпускали, не хотели рисковать командиром.

Правда, дважды наведывались в деревню посыльные матроса, а третий принес наказ, чтоб Мария сама прибыла на встречу с мужем. В субботу должен был через Сарбинку отправиться в Высокогорское смолокур. Он намеренно приедет вечером, чтоб заночевать у Федотовых. Это не вызовет подозрения. Старик-смолокур, давний приятель отца Ивана, и прежде не раз ночевал у него.

В воскресенье поутру смолокур отправится дальше, Мария пусть выедет с ним на базар, захватив с собой и дочку. Это тоже не должно никого беспокоить, поскольку у них нет своей лошади.

На дороге, вблизи землянухи, где обитала Мария, когда пасла борщовских свиней, Иван станет поджидать их с ребятами в березняке.

Задумано все было вроде неплохо. Но Танюшку взять с собой свекор не дал.

— Всяко может обернуться. Уследят беляки, так одна-то в березняке или согре схоронишься. А с ребятенком куда в таком разе? Знамо, Ивану охота дитем полюбоваться. Да на всякое хотенье надобно иметь терпенье. Невдолге уж и конец белякам-то.

Свекор оказался прав. Все произошло не так, как намечалось. Не успели смолокур с Марией доехать до знакомой землянухи у ворот поскотины, как увидели скачущего к ним верхового.

— «Иван!» — трепыхнулось в груди Марии.

Но тут же она разглядела, что это не ее Иван, а Ванюха Совриков. И потому, что конь летел бешеным наметом, подумалось: случилась беда!

С ходу осадив коня возле телеги смолокура, Ванюха одним махом соскочил на дорогу, крикнул Марии:

— Скачи живей к Чилиму!

Мария побледнела.

— Ивана убили?

— Да нет! Командир живой, коммунара шибко ранило. Упрятать надо... И пулемет тоже...

— Какого коммунара? Куда упрятать?

— Нашего коммунара, какого еще? Здорово его зацепило, когда пулемет отбивали. Нечаянно прямо пулемет у милиционеров на борщовском хуторе узрили, налетели трое геройски и отбили! — не без хвастовства выпалил Ванюха.

— Так я-то при чем? Мне-то куда скакать?

— Упрятать, говорю, на время надо! Потому — каратели вскорости нагрянуть должны, а с раненым коммунаром да пулеметом на двух конях нам быстро не ускакать. А куда прятать — места того командир не нашел. Ты, дескать, знаешь, велел за тобой скорей скакать...

Лишь тут Мария сообразила, что к чему. Она умоляюще обратилась к смолокуру:

— Гони поскорее к Чилиму, туда, где Крутой яр!

Старик свернул с дороги. Ванюха выхватил у него вожжи, подал Марии повод своего коня.

— Верхом скачи!

— А ты?

— Мне туда не к спеху. Мы с дедуней дальше тронемся...

Мария вскочила в седло. Ванюха сунул ей в руку сырмятную плетку, но конь и так помчался вихрем.

Еще девчонкой, когда пасла свиней, Мария открыла тайну Крутого яра.

Однажды убежала свинья из борщовского стада. Марька погналась за ней, попыталась вернуть. Но свинья на глазах у девчонки провалилась под землю. Вместе с ней исчез и куст боярки...

Красивое тут было место. Высокая грива, постепенно опускавшаяся

к озеру, с кустами боярышника, черемухи и рябины. Между кустов — вечно некошенные поляны с весны до осени радовали глаз цветами. Сменяя друг друга, горели разноцветные ветродуйки, саранки, кандыки, марьины коренья, шпорник, дикая мальва. Но люди ходили сюда с опаской, потому что грива эта, как оспой, была изрыта ямами. Идешь, смотришь — ямка вроде пустышная. Поросла самым безобидным папоротником или мать-мачехой, а неосторожно ступи ногой на край ската — грунт под ногами начнет осыпаться, с шумом покатится куда-то в глубину, увлекая тебя за собой. И на месте безобидной ямки появится темная бездна провала.

Вот такой провал и поглотил свинью. И лишь каким-то чудом Марька задержалась с разбегу на краю осыпи. В следующую секунду она бросилась прочь и бежала без оглядки до самого Крутояра.

День был жаркий, от быстрого бега Марька совсем задохнулась, ей нестерпимо захотелось пить. И хотя берег был тут крутой, только у самого подбережья виднелась глинистая кромка, она скатилась вниз. А когда напилась и понемногу пришла в себя от страха, то испугалась уже другого. Как теперь оправдаться перед Борщовым? Ведь он строго предупреждал, чтоб и близко не подпускала свиней к провалам.

Марька горько разревелась. Долго она редела, совсем обессилела от слез.

Привело ее в себя громкое хрюканье, раздавшееся, как почудилось девчонке, у самого уха. Ошеломленно вскочив, Марька и в самом деле увидела грязную свиную морду, торчавшую прямо из серого известнякового яра.

Эта хрюкающая свинья морда так перепугала Марьку, что она взвизгнула. Но тут увидела знакомую отметину, какой Матвей Борщов пометил свое стадо: левое ухо свиньи было расстрижено на два лоскутка. Из берега выглядывала та самая хавронья, которая на глазах у Марьки исчезла в провале! Страх сменился любопытством: как она появилась здесь, почти в полуверсте от провалов? Значит, под землей нашелся какой-то проход и привел ее к берегу.

— Ну, чего хрюкаешь? Узнала меня? — рассмеялась Марька.

Свинья захрюкала еще громче, но из своего убежища не вылезала. Оказалось, в берегу имелся довольно широкий проход, свинья могла свободно выйти, но для этого надо было спуститься в воду. Хавронья же стремилась посуху протиснуться в узкую щель, зиявшую рядом с большим проходом.

Девчонка стукнула свинью по тупому рылу. Та отскочила, но тут же снова сунулась в ту же дыру.

— Что с тобой делать, глупая скотина?

Марька осторожно опустила ногу в воду, проверяя, есть ли тут дно,

не провал ли тоже. Дно ощупывалось твердое, каменистое. Тогда девчонка решила, ступила и второй ногой. Потом, по колена в воде, шагнула в глубь прохода. Там было полутемно, как в подполье с маленьким окошечком. Когда же глаза немного привыкли к сумраку, она разглядела довольно просторную, высокую пещеру, уходившую вверх.

Вода стояла, как в корыте, только у самого входа. Накопилась, очевидно, из махонького ручейка, который струйкой скатывался из глубины пещеры. По этому ручейку, по подземному проходу, промытому им, и пришла, видно, свинья сюда после того, как свалилась в провал.

Разобравшись во всем этом, Марька уже смелее шагнула дальше. Вылезла из воды на сухое место, еще раз огляделась. Заметила, что стены у пещеры каменистые, не грозят осыпью, и совсем успокоилась, выгнала свинью, решив про себя, что побывает здесь еще, осмотрит все как следует.

Но жаркая, сухая погода сменилась проливными дождями. Когда же снова установились солнечные дни и девчонка пришла к Крутояру, то увидела: озеро поднялось, затопило вход в пещеру. Потому, очевидно, люди и не знали о пещере, что вход в нее был обычно затоплен и открывался лишь в засушливое лето.

Со временем Марька забыла об этой истории. Лишь много лет спустя, когда вышла за Ивана, вспомнила и показала ему место, насмешила случаем со свиньей.

Теперь вот пещера понадобилась.

Подскакав к Крутому яру, Мария увидела Ивана у самой кромки берега. Опустившись на колена, он рвал на ленты свою рубашку и перебинтовывал лежавшего у его ног партизана. Это был пожилой мужчина с огненно-рыжими волосами. Раньше и лицо у него, наверное, было цвета красной меди. Таких в Сарбинке звали «снегирями». Но теперь лицо его сделалось землистым. Марии даже показалось, что раненый уже умер. Соскочив с коня, она схватила Ивана за плечи.

«Ну чего ты с покойником возишься, спасайся сам!» — без слов говорил ее умоляющий взгляд.

— Рана не смертельна, — сказал Иван, закончив перевязку. — Крови много потерял, ослаб наш коммунар. Везти никак нельзя, спрятать на время надо. Вспомнил о твоей пещере, да не нашел...

— Ой, и сама я, поди, теперь не найду! — встревожилась Мария.

Память все же не подвела. Отбежав шагов на пятнадцать в сторону, где было небольшое понижение, она, как тогда в девчонках, скатилась под берег. Вода не опустилась нынче до такого уровня, как в то жаркое лето. Основной вход в пещеру был скрыт. Но щель, куда пыталась вылезть свинья, осталась незатопленной.

— Вот она!

Иван тоже скатился вниз посмотреть, как все выглядит на самом деле. И глянув, невольно присвистнул.

— Подныривать теперь, что ли?

— Зато сроду никто не найдет. Там пещера вверх поднимается, сухо должно быть...

— Лучше все-таки проверить.

Мария решительно полезла в воду. Иван удержал ее.

— Погоди, мне самому надо глянуть.

Он забрел в озеро, пошарил руками по берегу, пригнулся и скрылся под водой. Вскоре он вынырнул обратно.

— Добро! Верно, сам сатана тут не найдет! И не шибко холодно — ключ-то теплый струится.

Иван вскарабкался на Крутояр, поднял партизана на руки и вместе с ним скатился под берег.

— Куда ты меня волокешь? — очнувшись, слабым голосом спросил раненый.

— Пещера тут, Петр, спрячу тебя дня на два. Еда-то у тебя в котомке есть, вода рядом, переждешь как-нибудь. Потом прискачем всем отрядом, заберем. Теперь нам с Совриковым через согру с тобой не уйти...

— Ясное дело.

— Только ты не пужайся, тут подныривать надо. Рот закрой...

На этот раз Иван задержался в пещере подольше. Марию уже начала одолевать тревога, когда он снова показался из воды.

— Порядок! — сказал, отдуваясь. — Надо бы и пулемет сюда упрятать... Милиционеры зачем-то привезли его на борщовский хутор, а мы случайно заметили, налетели и отбили. Теперь каратели поди рыскают кругом, ищут нас. Уходить поживей надо. И ты подавайся скорей домой. — Вдруг он спохватился, спросил тревожно:

— А Танюху ты где оставила? Со смолокурором, что ли?

— Батя не дал ее с собой взять.

— Вот и ладно! — облегченно вздохнул Иван. — Ишь как все обернулось...

Порывисто обнял Марию, прижал к себе.

— Не охота вот расставаться, да надо. Давай, поспешай домой, а я к своим подамся.

— А пулемет? — спросила Мария.

— Пулемет я тут в озере утопил. Ничего ему пока не сделается, здорово смазаный. На случай запомни, там вон, где сушина на берегу. Лучше бы сюда перетащить, да некогда уж. Прощай пока.

Он вскочил в седло, пригнулся, поскакал к согре, уводя в поводу и коня Ванюхи Соврикова.

Мария проводила его взглядом, жалея, что встреча была такой короткой, не удалось даже толком поговорить, и радуясь, что все обошлось благополучно.

16.

Домой Мария вернулась без осложнений. В Сарбинку ехал с пашни старовер Куприянов. Она вышла на дорогу, попросила подвезти ее.

Нелюдим-старик сначала не отозвался, лишь подхлестнул коня, намереваясь поскорей миновать ее. Но тут же, видимо, вспомнил, какой магической силой обладает Мария. И, убоившись вызвать ее неудовольствие, резко натянул поводья, буркнул:

— Садись...

А когда Мария села рядом, поминутно поглядывал на нее, всерьез опасаясь, как бы не обернулась она опять свиньей или еще какой нечистью. И торопил коня, стремясь поскорее добраться до деревни.

Свекор не ожидал такого скорого возвращения невестки. Спросил обеспокоенно:

— Не встретились рази?

— Встретились, батя. Только и словом перемолвиться едва успели. Она рассказала старику, какой получилась встреча. Не сказала одного: как спрятали раненого партизана. Просто не успела. На улице раздался гулкий конский топот.

Мария выглянула в окно и отшатнулась: скакал отряд карателей.

— Не сюда ли торопятя, паразиты? — встревожился свекор. — Не подглядел ли кто, где ты была. Не дай бог, выведывать примутся...

— Не бойся, батя, ничего не выведуют! — сказала Мария.

— Пронеси господи! Ежели вопрошать возьмутся, куда со смолокуроем ездил и отчего возвратилась, так надо толком объяснить...

И опять Мария не успела ответить старику. Каратели спешили под окнами, толпой ввалились в ограду. Потом затопали сапоги на крыльце, резко хлопнула сеношная дверь, рывком распахнулась избяная.

— Дома, стерва? — гаркнул рябой верзила, первым ворвавшийся в избу.

Следом быстрым пружинистым шагом вошел щеголеватый поручик Куницын. Отстранив рябого, спросил насмешливо:

— Не успела, гражданочка, смыться?

— Куда я смоюсь? От дитя-то! — сказала Мария, покачивая зыбку, в которой спала Танюшка.

— Довод логи-и-чный! — протянул поручик язвительно. — Не логично другое: почему заботливая мамаша бросила это самое дитя и спозаранок помчалась сегодня в поле?

— Я не бросала, с батей оставляла.

— А-а, все же не отрицаешь! — ухмыльнулся офицер. — Для начала и это похвально. Надеюсь, любезная, скажешь заодно: куда путь держала?

— На базар со смолокуром хотела съездить. Серянок да керосину хоть чуток у менял добыть.

— Так, так. А нельзя ли узнать, отчего тогда с полпути вернулась?

— Потому что испугалась...

— Гм-м... Любопытное признание, — хмыкнул поручик. — Хотелось бы уточнить причину этого испуга.

Мария заколебалась. Думала сослаться на то, что увидела в поле карательный отряд. И это было бы правдоподобно. Однако поручик мог спросить, где именно она их заметила. Тут ничего не стоило запутаться. И она решила на полуправду. Сказала, что у ворот поскотины встретился верховой, сказал, что у хутора произошла стычка, и все дороги будут теперь обложены. Смолокур все-таки поехал дальше, а она забоялась, вернулась домой. Сначала шла напрямиком пешком, а потом ее подвез староввер Куприянов.

— Достоверно все изложила, — согласился поручик. — Упустила пустяк: где с муженьком виделась, где раненого комиссара припрятали?

У Марии похолодело в груди. Неужели каратели выследили их? Нет, тогда поймали бы всех на месте, под Крутоярком. Незачем было бы вот так выведывать это у нее. Что-то они знают, но далеко не все. Сообразив это, Мария овладела собой.

— Никого я не видела, ничего больше не знаю!

Поручик уперся в нее взглядом.

— Что ж, тогда поступим иначе... — опять усмехнулся он, и в глазах у него мелькнуло ехидство.

Потом он достал портсигар, закурил папиросу, с удовольствием затянулся и негромко скомандовал верзиле:

— Ввести главаря!

В избу втолкнули Ивана. Лицо его было в кровоподтеках, нос залуп, вздулся картошкой, руки были связаны, он еле держался на ногах.

Ноги Марии тоже сделались ватными, она обессиленно опустилась на лавку. Все помутилось у нее перед глазами, поплыло туманом.

Старик-отец протянул руки к сыну, намереваясь, видимо, обнять его. Но рябой так хлестко ударил его в скулу, что старый без памяти рухнул в закуток за печью, где зимой висел рукомойник, а летом складывали всякую рухлядь.

— Кого бьешь?! — яростно сказал Иван. — На георгиевских кавалеров царские офицеры не смели руку поднять! А ты, мясник и шкуродер, кобелина продажная, героя бьешь!

— Ничаво, оклемається, коли герой, — осклабился верзила.

— Если бы он не вырастил красную сволочь — был бы, разумеется, почет. Теперь же — пардон! — Поручик дернул плечом, приблизился к Марии, заглянул ей в лицо.

— Так как, любезная, возобновим беседу? Видишь сама, запираяться бесполезно. И ты, и твой матрос в наших руках. Скажу откровенно: полного помилования партизанскому вожаку не будет. Но если ты откроешь, где спрятан партизан, то тебя не тронем даже пальцем, а муженька твоего отправим в тюрьму. А нет — будете рядом болтаться в петле на воротах. И дитя твое останется круглым сиротой... Даю три минуты на размышление!

Поручик сел на табуретку посреди избы, не спуская с Марии испытующего взгляда, стал пускать колечки дыма.

Иван тоже неотрывно смотрел на жену. Мария не стала раздумывать и минуты.

— Ничего больше не знаю, никакого партизана не видела.

— А кого видела?

— Никого, кроме смолокура и старовера, не видела!

— А кто говорил, что верховой встретился у ворот поскотины? Может, это и был комиссар?

— Откуда мне знать? На лбу у него отметины не было.

— А может, это муженек твой был? Сцапали мы его недалеко от тех ворот.

— Не бреши, господин поручик! У ворот, да не у тех! Не на тракте, а возле мельницы напоролся я на вас, — уточнил Иван. И добавил, видимо, для Марии: — Сцапать было нехитро, ежели конь угодил в сусличью нору, грохнулся на всем скаку и меня под себя подмял. Не велико геройство навалиться целым взводом да скрутить беспамятного. Попробовали бы подступиться, когда очухался.

— Молчать! — схватился офицер за кобуру. — Не то заткну рот пулей!

— Это самое человеческое из того, что каратели умеют делать! — поддел матрос.

Поручик кивнул верзиле-солдату:

— Покажи-ка, Демьян, большевичку закрутку! Сразу станет податливее...

Детина выбежал во двор, принес круглое березовое полешко. Просунул его между веревками, которыми были связаны заломленные назад руки Ивана. Принялся крутить его, как крутят у саней завертку оглобель. Скручиваясь, веревки врезались в тело, еще больше заламывали руки, выворачивали их из плечевых суставов.

Поручик, поудобнее устроившись на табуретке, заложив нога за

ногу, приготовился выслушать сначала стоны, затем дикие вопли и, наконец, нутряной, нечеловеческий рев.

Но, странное дело, все пошло не так, как ожидалось. Солдат усердно крутил веревку, аж сопел от напряжения, руки матроса заламывались все страшнее, слышно было, как трещали сухожилия, но Иван не издал ни единого звука. Лишь лицо закаменело, да на шее толстыми жгутами напряглись синие жилы...

Офицер нервно приподнялся, нетерпеливо потребовал:

— Крути сильнее, болван!

Багровея от натуги, верзила-истязатель приналег на полешко, повернул его еще. Руки Ивана совсем вывернулись.

У Марии помутилось в голове. Она в беспомощности кинулась на верзилу, вцепилась в него, оторвала от Ивана. И полешко со свистом раскрутилось, веревки ослабли.

Отшвырнув Марию, солдат поспешно принялся исправлять оплошку. Но офицер унял его:

— погоди, дадим большевичку передышку! У него язык, очевидно, отнялся.

Поручик встал напротив Ивана, стремясь заглянуть ему в глаза, найти в них отражение слабости.

— Мужество, конечно, заслуживает уважения. Согласен, ты человек стойкий. Но бессмысленное упрямство твое тебя же привело к мукам. Куда разумнее сказать все начистоту.

Тяжело передохнув, Иван произнес:

— Скажу одно: поджилки не у меня, а у тебя трясутся!

Действительно, правая нога поручика непроизвольно дергалась, выстукивая каблуком мелкую дробь.

— Ах ты, сволочь красная!

Поручик заметался по избе, придумывая, видимо, чем бы пронять матроса. В это время из сенок в избу протиснулся Семка Борщов.

— Сграбастали-таки красного главаря! Теперь и отряд его расползется, как гнилая одежонка!

— Не ликуй, обглодыш! — презрительно бросил Иван. — Поглавнее меня у партизан командиры есть и отряды побольше. И до вас, живоготов, все равно доберутся!

Давно уже никто не называл Семена обглодышем. Уничтожающая эта кличка с новой силой воскресила в нем давнюю обиду. Подскочив к Ивану, он злобно замахнулся. Но увидел страшные кровоподтеки на его лице, и рука не поднялась. Только матерно выругался.

— Заткните ему хайло! — приказал поручик.

Пучеглазый солдат сорвал с Марии платок, подскочив к Ивану.

— Рот заткнете — тогда уж наверняка ничего не скажу.

— Значит, надумал говорить? Скажешь, где комиссар?

— Комиссар с отрядом.

— Бреешь! Зубин его подстрелил, а потом своими глазами видел, как ты его подхватил и к березам ускакал.

— Эту большевистскую каналью не уломаешь, я его знаю! — Красавчик сплюнул на пол. — Вздернуть на воротах — и делу конец!

— Э-э, нет! Все равно заговорит. Мы ему такое пекло устроим, что потом в ад поволокут, так и тот раем покажется! — Поручик снова уселся на табуретку, рукой прижал судорожно прыгающую ногу.

При слове «пекло» вымуштрованный пучеглазый пулей вылетел в дверь. Вскоре он вернулся, таща охапку сухих тычин.

Рядом с русской печью, соединенный с ней трубой, стоял камелек. Такие камельки в Сарбинке клали из камня-плитняка в избах на зиму. Топили только в стужу, когда русская печь не могла обогреть. По весне камельки обычно убирали. Но нынче у Марии руки не дошли.

Пучеглазый натолкал в камелек сушняка, тот загорелся с треском, как порох. Плита живо нагрелась. Когда солдат плюнул на нее, слюна закипела и вспенилась.

— Понятно, что сие значит? — спросил офицер.

— Это значит — беляки похуже зверей! — жестко сказал Иван.

— Так-с! — едва сдерживая бешенство, прошипел поручик. — Тогда пеняй на себя, ты сам вынуждаешь...

Верзила с пучеглазым навалились на Ивана, потащили к плите.

Мария не выдержала, вскрикнула дико. И тогда зашлась в страшном, совсем не детском вопле Танюшка. Она давно уже плакала у себя в зыбке, но никто не замечал ее слез, хотя Мария механически качала зыбку.

Истошный рев ребенка окончательно вывел поручика из равновесия, он тоже завопил, как помешанный:

— Вышвырните гадючку вон!

Требование было настолько чудовищным, что даже верзила с пучеглазым не решались исполнить его. Тогда поручик в бешенстве рванулся к зыбке, схватил ребенка и вышвырнул в дверь. Танюшка ударилась головой о косяк, коротко вскрикнула и умолкла.

В доме воцарилась кошмарная тишина. Потом безумно закричала Мария, с яростью и стремительностью росوماхи бросилась на убийцу. Красавчик успел заломить ей руки. Но такой ненавистью к палачу пылали глаза матери, что поручик не снес этого прожигающего взгляда. Схватил со стола вилку, ткнул в глаз Марии. Наверное, он ткнул бы и во второй, но тут, воспользовавшись замешательством верзилы и пучеглазого, Иван вырвался из их лап. И хотя руки у него были связаны и покалечены, ноги-то были свободны, и матрос с разбегу так ударил поручика

сапогом в пах, что тот улетел к порогу, грохнулся возле закуртка за печью.

Правда, он тут же вскочил, но лишь на мгновение.

В закутке, куда его зашвырнул ударом кулака верзила, поднялся отец Ивана. Старый солдат, очевидно, окончательно пришел в себя только в ту минуту, когда Иван сбил офицера с ног.

Отец схватил с полочки за печью, где всегда у него лежали разные плотничьи и сапожные инструменты, стамеску. Едва поручик успел вскочить с полу, как он из последних стариковских сил, но с былой солдатской сноровкой, будто штыком, обеими руками, снизу вверх ударил его под левую лопатку этой стамеской.

Каратель рухнул замертво.

Красавчик выхватил из кобуры наган, в упор выстрелил в старика.

Падая, дед всхлипнул:

— Внучка-то...

Мария, полуслепая, захлебываясь кровью, рванулась к дочке, подхватила ее. Вместо упругого живого тельца руки ощутили нечто страшно расслабленное. Таким расслабленным, будто вовсе без мускулов, бывает лишь свежий, не заочневший еще труп.

Тут пришло беспамятство. Очнулась Мария на лавке возле печки от того, что кто-то плеснул ей на лицо холодной воды.

В избе не было уже ни Ивана, ни верзилы с пучеглазым. Перед Марией стоял Семка Борщов. Склонившись, он тихонько спросил ее:

— А пулемет ты не знаешь где?

Она хотела размахнуться, что есть мочи ударить в самодовольную харю Красавчика. Но руки оказались связанными. И даже плюнуть не могла: во рту пересохло, слюны не было.

— Не дергайся, не дергайся! Я для того тебе руки и связал, чтоб не буйствовала. Поручик не предусмотрел, так поплатился, а я вашу семейку знаю, — продолжал Борщов, ухмыляясь.

Мария прохрипела что-то нечленораздельное.

— Ладно, не рычи! Связанная не то что баба — волчица не страшна. Мне теперь не к слеху, очухайся совсем — еще потолкуем.

Красавчик повернул к двери, вышел в сенки, позвал солдат. В избу ввалились трое карателей, подхватили Марию, вывели во двор, посреди которого остановился Семка.

— Можешь проститься со своим разлюбезным. И со старым хрычом тоже.

Он кивнул на ворота.

На перекладине висели в петлях Иван с отцом. Матрос еще конвульсивно дергался, старик был неподвижен. Его повесили мертвого.

Мария опять лишилась сознания.

По приказу Красавчика Марию уволокли в баню, а в предбаннике поместили часового.

Очнулась Мария от гулкого треска и стука, доносившегося с подворья. Баня у Федотовых была в самом конце огорода, на обрывистом берегу оврага, на отшибе от избы и всех надворных построек, но треск и стуки долетали и сюда.

Хотя один глаз у Марии сильно затек и его так ломило, что и другим от боли было трудно смотреть, все же Мария, глянув в маленькое окошко, увидела: каратели, вооружившись топорами и ломami, отдирали, сбрасывали вниз крышу дома. Потом принялись рушить стропила, выворачивать потолочины и раскатывать бревна стен. Другая группа разрушителей сносила амбар, третья разваливала хлев.

Бревна пилили на чурбаки, тесины рубили и стаскивали на середину огорода. Там уже пылал огромный кострище. Жгли, пускали дымом все, что было из домашней утвари и одежды у Федотовых. Семка Борщов изводил на корень ненавистную усадьбу.

Проще, конечно, было бы подпалить дом и все надворные постройки на месте. Но тогда огонь мог перекинуться на соседние подворья, не пощадил бы и богатеев.

Мария зарыдала, упала на лавку, забилась, как в судорогах. От сознания, что нет у нее больше ни Ивана, ни милой Танюшки, ни свекра, ни дома с подворьем, нет ничего на свете, охватило ее такое безысходное горе, отчаянье, что было жалко только одного: зачем сама она жива? Сожгли бы на костре — и то было бы легче, чем терзаться такой мукой!

Дом и подворье рушили и жгли долго. И чем дольше смотрела Мария на полыхающий костер, тем больше тупая эта, злобная жестокость врага возвращала ей силы. Отчаянье сменялось жаждой мести. Мария вскочила, толкнула дверь — она не шевельнулась. Но из-за двери послышался голос:

— Не ломись зря, дверь колом подперта.

Ясно стало — в предбаннике сидел на карауле каратель. Что было делать? Выдавить оконце? Со связанными руками все равно не пролезешь. И солдаты в огороде сразу увидят, только высунись. А больше, вроде, ничего не придумаешь. Даже дымохода у бани нет, топилась она по-черному.

Нет выхода, хоть головой о стенку бейся! Стой-ка! Стенки-то у бани не все целые! Свекор часто зимой жаловался: стена, мол, под полком погнила, холодом тянет, выновлять надо. Так если под полком забраться, расковырять попытаться стену? Гнилое дерево податливо, а на каменке

валяется немало всяких железяк. Сама бросала «для пару» то лопнув-шую сковороду, то расколовшуюся ступу, то перержавевший шкворень. Чего-нибудь да можно в ход пустить. Только прежде надо освободить руки.

Мария опустила на колени, локтем нашарила наиболее острый выступ у каменки и принялась растирать веревку. Терла долго, упорно. Вместо веревки камень часто раздирал кожу, впивался в тело. Наконец, веревка лопнула. Израненные руки отчаянно болели, сильно затекли, но были свободны, могли двигаться! Передохнув, Мария отыскала на каменке обломок сковороды, попробовала ковырять полки — ничего не получалось, слишком тупое и неудобное оружие. Потом попался боронный зуб. Это уже лучше, можно как-то орудовать. Однако выбираться наружу засветло было слишком рискованно, в потемках скрыться легче. Только и вечера ждать опасно. Вдруг Семка вздумает возобновить допрос? Или, того хуже, решит доставить ее в волость? А может, он вечера ждет с другой целью? Обглодыш на любую пакость способен...

Нет, тянуть нельзя! На случай же, если часовой услышит возню и вздумает заглянуть в баню, надо заломить двери изнутри.

Ни задвижки, ни крючка у двери не было. Поэтому Мария решила подтащить лавку, поставить ее поперек входа и привязать к ней двери за скобу той веревкой, которой были скручены ее руки. Но едва она взялась за дело, как дверь приоткрылась, часовой просунул в щель какой-то сверток, сказал тихо:

— Поешь-ка, бабонька! Твою же поросюшку порешили.

Голос звучал сочувственно. Но слишком много испытала сегодня Мария от беляков, чтоб поверить в доброту карателя. Она приняла это за очередную издевку, в сердцах выпихнула сверток.

— Не сердчай, глупая! — солдат втолкнул его снова. — Арестанту пицца тоже полагается. Дай-ка руки развяжу поесть-то... И на худой конец...

Мария испуганно отшатнулась. Солдат хмыкнул, но ничего больше не сказал, захлопнул дверь. Похоже, догадался, что руки у Марии уже свободны. Станный какой-то каратель...

«Ладно, пес с тобой, — подумала Мария, поднимая узелок. — Сгодится, когда сбегу, станешь тогда локти кусать, что снабдил на дорогу!»

В узелке прощупывалась краюха хлеба, бутылка. Вдруг пальцы наткнулись на что-то острое. Бог мой!

Мария поспешно развязала узел, разломилла краюху. Так и есть! Нож, короткий, но острый, как бритва, сапожный нож свекра. Словно покойник и после смерти заботился о невестке... Хотя, конечно, это сделал часовой. Зачем?

С минутой она стояла словно в оцепенении, ничего не понимая. Да

и трудно было это все сразу уразуметь. Может, солдат хотел дать ей средство для обороны, если полезет ночью Семка? Может, солдат «пожалел» ее, подsunул нож, чтоб она полоснула себя по горлу, избавилась тем от новых пыток? Или другой кто запрятал нож в хлеб и упросил часового взять для арестованной передачу?

Так или иначе — разбираться было некогда. Мария быстро нырнула под полок, принялась с остервенением кромсать податливое дерево. Свекор был прав. Под полком от постоянной сырости бревна сильно попрели. Острый нож выпластывал сразу большие куски. Лишь к концу дело пошло потруднее. Наружная оболочка древесины была крепкой. Нож вгрызался в нее с трудом, с хрустом.

Наверное, хруст этот, треск был слышен в предбаннике. Часовой в любую минуту мог поднять тревогу. Но раз он ее не поднимал, то медлить и осторожничать было недопустимо.

— Ну-ка, тиха-а! — раздался вдруг негромкий возглас в предбаннике.

Мария замерла. Кому это сигнал! Неужто ее предупреждают так открыто?

Ага, возле бани слышны другие голоса!

— Чего разорался-то? — насмешливо произнес хриловатый басок.

— Тиха, тиха, а сам орет лихо! — произнес другой, писклявый.

— То и ору, что шальные вовсе стали! Лезете нахрапом, а я, поди, тут не опосля банного пару прохлаждаюсь, на посту стою!

— Хм-м, на посту! — принялся балагурить басок. — Возле такой бабенки без банного пару упаришься!

— Да-а, побаловать бы с такой...

— И так с ней набаловались — больше некуда! — отрубил часовой.

В голосе его прозвучало такое осуждение, что балагуру сделалось, видно, не по себе. Солдаты замолчали. Потом басок сказал:

— А у Боршовых-то, знать, хутор подпалили. Семен Матвеевич кинулся туда на спасение с целым взводом. Только чего там спасешь!

Опять все примолкли.

— А мы, слышь, к старосте нацелились, — снова завел басок после недолгого молчания. — У него первач имеется.

— Мне там оставьте долю.

— Ты ж на посту при бабе, — хохотнул писклявый.

— Скоро сменюсь.

— Тогда топай тоже к старосте.

— Всенепременно.

Голоса стихли. Выжидать больше было нечего, часовой, по-види-

тому, не без умысла упомянул, что скоро сменится. Похоже, не больно он белякам преданный...

Мария еще яростнее принялась кромсать дерево, стараясь в то же время производить как можно меньше шума. Наконец, удалось пробить отверстие в стене. Теперь работать стало сподручнее. Бревно не надо ковырять, вгрызаться в него, а можно резать, отваливать прелую древесину пластами, как ломти хлеба.

Через несколько минут образовалось такое отверстие, что в него можно было вылезти наружу.

В это время в предбаннике опять послышались голоса. Сменялись часовые. Наверное, следовало подождать, когда первый часовой уйдет, чтоб не подводить его, совершить побег при другом охраннике. Но Мария уже не в состоянии была медлить. Она торопливо шмыгнула в дыру, вылезла наружу, но не удержалась на краю обрыва, боком скатилась на дно оврага.

Весной этот овраг редко бывал сухим. Обычно по нему долго бурлил поток, а потом до середины лета тут и там держалась в колдобинах застойная зеленая вода. В Сарбинке не принято было удобрять поля, подкармливались только огородные культуры, а весь лишний навоз мужики сваливали в этот же овраг. И на тучной, всегда обеспеченной влагой земле по-дурному рос бурьян, лебеда, дикая конопля, яснотка и шпорник поднимались много выше человеческого роста. Во второй половине лета прорваться сквозь эти заросли было трудно. Но нынче зимой в овраг намело такие суметь, что они лишь недавно растаяли, кое-где до сих пор поблескивали лужи, бурьян не успел еще высоко подняться. Никем не замеченная, Мария добежала по дну оврага до реки, где начиналась прибрежная согра.

Тут она пришла в себя, поняла, что спаслась. Но никакой радости избавления не возникло. Всю ее охватило, жгло, как огнем, одно чувство: месть, месть, месть!

Ушла из жизни и забитая свинопаска Марька, и свободная крестьянка, первая в Сарбинке женсоветчица Мария Федотова.

Явилась на свет красная партизанка. Та, которую беляки за полыхающую ненависть ее, за грозные боевые дела окрестят потом «Страшной Марьей»...

Леонид МЕРЗЛИКИН

КЕДР

Плывут облака надо мною,
Цепляясь за кроны дерев.
К стволу прислоняюсь спиною,
На кочку сухую присев.

И шурюсь, взволнованный тем я,
Что слышу дыхание недр.
Я слышу, как прет из-под земья,
Гудит, воздымается кедр.

Могуч от корня, вековечен
До самой макушки вразбег.
Да будет к нему человечен,
Да ценит его человек!

Ах, как эти ветви нависли!
Какое величье — гляди!
Но тень набегаёт на мысли,
Я знаю, что ждёт впереди.

Я глажу корявую кору...
Мой милый разлапистый кедр,
Богатство свое без разбору
Ты даришь, и ласков, и щедр.

Гудишь и шумишь в поднебесье,
А рухнешь в смятении ветвей,
Обидно — одно мелколесье
Взойдет над могилой твоей...

* * *

Стирается обувь, стирается память,
Пред вечным покоем стирается страх,
И люди уходят в безбрежную замять,
И звезды сгорают в крошечных мирах.

И я, как туман, откачаюсь — и негу.
И в том я не вижу вселенской беды...
Ах, вы не губите мне реченьку эту,
Где ветлы, песок да сорочьи следы!

А кто ее губит? Не знаю, не знаю.
Наверное, сам, потому что забыл.
Забыл, как она разливается к маю,
Как поит губастых сельповских кобыл.

Давно я тут не был. Совсем обмелела.
Ни омутов темных, ни лодок впритык.
Ступаю по вязкому дну неумело,
Рискуя бултыхнуться в воду. Отвык.

Ах, реченька-речка, моя лопотунья!
Вдали от тебя, от твоих берегов
Строчил я конспекты, а ты в полнолуны
В себе отражала шеломы стогов.

Бежала ко мне, на ветрах леденела,
А я во все зубы историю грыз —
Вникал, как от крови волна багрянела,
Как трупы чурбашками плыли наниз,

Как в древних песках города погибали,
И реки терялись. Седые пески
Свистели, вздымаясь, и все погребали.
Пустыня... Безмолвное царство тоски...

Стирается обувь, стирается память,
Пред вечным покоем стирается страх.
Теряются люди, ушедшие в замять,
Теряются звезды в крошечных мирах.

Ах, речка моя — голубые разводы,
Нет, ты не потеряна в сердце моем!
Неси, как несла эти чистые воды
Туда, за мосты, за лесной окаем.

Пускай для меня ты теперь мелковата,
Моя путеводная с детства река,
Мне только глоток, как глоток для солдата,
Что ранен смертельно. Мне хватит глотка.

ИВУШКА

Мы с тобою идем по безводной степи
И взываем к дождю: «Окропи, окропи!»

Но ни капельки с неба. И душно кругом.
Потерпи, дорогая, мы скоро придем.

«Мы придем», — говорю я, однако же сам
Утешительным этим не верю словам,

Потому что не знаю, где кончится путь.
Может, в балке какой-нибудь нам отдохнуть?

Ты задремлешь, а я превращусь в ручеек
И коснусь твоих губ, и коснусь твоих ног,

Ты проснешься, напьешься, окликнешь меня,
Поглядишь в ручеек, русы косы клоня,

И поймешь и, гоня мимолетный испуг,
Обернешься плакучею ивушкой вдруг...

Электронная библиотека АКУИРБ, akuirb.ru

л
т
л
п
ч
да
че
И
ку
их
6*

ЛОШАДКА

В те дни, когда Илья Павлович приезжает погостить на дачу, тихая однообразная жизнь сразу обрывается, как старая кинолента, и начинается радостная суматоха: папа бежит в магазинчик, мама разжигает керосинку, тетя Софа и тетя Люся принимаются вдруг громко разговаривать и смеяться. Ухватив Илью Павловича за руки, они тянут в разные стороны, будто хотят разорвать его на две части.

— Идемте на реку, — говорит тетя Софа.

— Нет, пойдёмте по ягоду, — зовет тетя Люся.

Илья Павлович хохочет и, изображая маленького капризного мальчишку, садится на землю, чтобы его никуда не увели.

Он шумный, веселый и щедрый. Для любого у него припасена шутка и улыбка. Тетя Софа называет его не иначе, как милым обворожительным человеком, а тетя Люся — добрым гением.

Илья Павлович никак не может обойтись без подарков. Пойдет в лес — зеленых шишечек наберет, бусы сделает, согнется в шутливом поклоне:

— Примите, Людмилочка. От зайчика. Нынче встретил меня, шепчет: отнеси самой прекрасной из женщин...

С реки несет гроздья калины, сплетенные в венок:

— Это корона лесной царицы. Она очень к лицу вам, Софочка.

На даче полно разных цветов, но никто почему-то ни разу не догадался дарить их друг другу. А Илья Павлович каждому сорвет цветочек, да так умеет вручить, будто в его руках бриллиант Великий Могол. И маме тоже.

Мама смущается, смеется радостно, прижимая руки к груди:

— Спасибо, Илья Павлович, большое спасибо. Мне-то за что такую прелесть?..

Странная! Могла бы целую охапку этих цветов нарвать — ведь сама их садила и до сих пор каждый вечер поливает...

Илья Павлович всегда привозит какую-нибудь новую веселую

игру, тащит всех на большую поляну, и до самого вечера там не утихают шум, беготня, хохот и визг. А вечером на веранде ужин.

Илья Павлович любит выпить водочки. Каждую рюмку он сопровождает смешными тостами, ест неторопливо, смачно, похваливая мамины закуски. Глядя на него, хочется съесть целого быка. Ножи и вилки звенят долго, потому что у Ильи Павловича славный аппетит и потому, что он рассказывает много интересного.

— Вчера приятеля встретил. Парень — ухо с глазом. Сообщил: в универмаг привезли болоньевые плащи. Обещал достать мне парочку. Для вас, Софочка, и для вас, Людмилочка...

Или:

— Есть возможность приобрести туфли с тупым носком. Сейчас это — крик моды. Кому нужно — не стесняйтесь. Вы все для меня, как родные.

Тетя Софа и тетя Люся охают, ахают и наперебой благодарят Илью Павловича за внимание и беспокойство.

Папе Илья Павлович уже приготовил и в следующий раз привезет шестицветную заграничную шариковую ручку, которую он «при случае у одного пилота прикупил». Маме тоже будет подарок. Какой? Это пока секрет.

Не забывает Илья Павлович и про Петю. Он обещал ему купить электровоз с моторчиком, действующим от батарейки, воздушный пистолет, подъемный кран, заводной гоночный автомобиль... А сегодня Илья Павлович был особенно добр:

— Ну что, Петушок, уже научился кукарекать? Молодец. Вот приеду в следующую субботу — лошадку тебе привезу. Большую. Лошадку-качалку. И шашку. Как Чапай будешь. Хочешь?

У Пети от радости даже сил не оказалось ответить. Он лишь молча и крепко прижался своей белой, словно одуванчик, головой к мягкому боку Ильи Павловича.

— Ну вот, считай, что конь-огонь уже в твоей конюшне.

В эту ночь Петя долго не мог уснуть — думал о лошадке и шашке. Ничего в жизни он так сильно не хотел, как лошадку-качалку и шашку. И еще бы буденновский шлем с большой красной звездой...

Ворочается Петя на койке, сбивая в комок простыни, и мечтает, как верхом на лошадке он вымчится на тропинку, где растет высокая ядовитая крапива, и начнет шашкой рубить ее, лютого врага. А когда Петя уснул, все, о чем он мечтал, приснилось ему и было еще интересней и прекрасней...

Назавтра в полдень все, как и прежде, пошли провожать Илью Павловича на станцию. Он продолжал шутить и смешить всех. Даже когда вошел в вагон, выглянул из окна и сказал что-то такое, что тетя

Люся и тетя Софа насилу отдышались от смеха. Они до самой дачи ойкали и постанывали: не могли успокоиться.

На даче снова стало тихо. Народу почти никого — все на работе. Петя мыкается то по комнатам, то по двору и терпеливо ждет субботы. Но дни тянутся так медленно... Кажется, эта неделя никогда не кончится и Илья Павлович больше не придет.

В пятницу Петя лег спать еще когда солнце было высоко — так ему хотелось, чтобы побыстрее проходили день и ночь. Ведь завтра, когда он проснется, будет уже суббота.

И вот она пришла!

Илья Павлович приехал с первым поездом и едва вошел во двор, сразу началась веселая суматоха: лапа побежал в магазинчик, мама принялась разжигать керосинку, а тетя Софа и тетя Люся опять пробовали разорвать Илью Павловича на две части.

Петя тоже бросился к Илье Павловичу, но на полдороге остановился: в его руках, кроме большого пузатого портфеля, ничего не было. Губы у Пети дрогнули, и в глазах заискрились слезы. Но он не заплакал. Подумал: а вдруг лошадка складная и лежит себе в портфеле.

Ведь сейчас даже кровати и столы складные да лошадку разборную сделать — раз плюнуть. Подумал Петя так, вытер кулачком глаза и повеселел. Он играл и пел со всеми вместе и ни в чем не отставал от Илья Павловича — бегал, прыгал, хохотал.

— Милый Илья, — сказала мама, — вы просто чудо! При вас даже Петя оживает. Всю эту неделю он был такой вялый, такой угрюмый. Я уже забеспокоилась, думала: не заболел ли. А вы приехали и вот... Нет, просто вы — чародей!

Петя прыгал, смеялся, пел, а сам все время думал: когда же Илья Павлович откроет свой портфель и отдаст лошадку и шашку? После обеда? Или вечером? Но прошел обед, прошел вечер, и все, утомленные за день, попадали спать.

Петя снова ворочался, сбивал в комок простыни и успокаивал себя: Илья Павлович отдаст лошадку завтра. Конечно, завтра. Сегодня ему было просто некогда, а завтра...

Провожали Илью Павловича всем скопом, весело и шумно. Лишь один Петя был тихим и грустным.

На перроне было уже полно народа, вскоре пришел и поезд. Илья Павлович стал прощаться и каждого обещал чем-то удивить в субботу. Увидел Петю, потрепал ему волосы.

— Ну, бутуз, прощай и ты. Чего приуныл? Жаль расставаться. Ничего, скоро приеду и привезу тебе самолет. Не какой-нибудь, а летающий. Хочешь?

— И лошадку привезете, и шашку? — доверчиво спросил Петя.

Илья Павлович, все еще широко улыбаясь, удивился:

— Какую лошадку и шашку?

— А ты, что вы в прошлый раз обещали?

— А-а!!.. Совсем памяти не стало... Ну, конечно же, привезу. Обязательно!

— И электровозик, и пистолетик, и подъемный кран, и автомобильчик, и...

Мама покраснела, крикнула сердито:

— Петя, перестань! Как не стыдно!

А папа вдруг схватил Петю за руку, дернул к себе и больно шлепнул по попе.

Илья Павлович будто ничего этого не заметил, все так же улыбался, все так же шутил, а тетя Софа и тетя Люся смеялись, правда, немного громче обычного.

— Ну, мне, пожалуй, пора, — сказал Илья Павлович и вскочил на подножку вагона. — До скорой встречи!

Больше Илья Павлович не приезжал.

РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК

Димка — славный общительный малый. Он плотный, широконыйкий, ходит медленно, вразвалочку. Мама говорит, что Димка — точная копия деда. А дед у него был мореходом...

Несмотря на свои небольшие года — Димке недавно исполнилось четыре, — он серьезен и рассудителен. Его вопросы приводят в трепет и маму и папу.

— Почему автомобили не на двух колесах? — спрашивает он папу и глядит на него внимательными голубыми глазами.

Папа беспомощно улыбается, кряхтит, мычит, нукает.

— Ну как же! Ну разве можно на двух? Это же глупо — на двух. Он тогда возьмет и упадет.

— А почему велосипед не падает? — быстро спрашивает Димка.

— Это совсем другое дело... Велосипед, он... Слушай, Димка, спроси, пожалуйста, о чем-нибудь другом.

Димка мотает головой. — Не хочу о другом. Не знаешь?

Папа всячески юлит, не хочет показать себя невеждой, но это ему не помогает.

— Не знаешь? — допытывается Димка. — Да? Эх ты! Потому что у них, у автомобилей, нет педалей!

Димка не плакса, не нытик, не какая-нибудь капризная кисейная

барышня. Настоящий мужчина. Даже тогда, когда ему в больнице делают уколы или прививки, он не плачет, а лишь морщится да кричит.

Но не эти все добрые Димкины качества принесли ему славу на весь дом. Конечно, в какой-то мере и они сыграли свою роль. Но главное, что сделало Димку известным и знаменитым, — это его аппетит.

Нет, он никакой не обжора, а просто очень аппетитно и вкусно ест. Когда он ест — смотреть одно удовольствие.

Однажды во время Димкиного обеда пришла соседка со своей дочкой Ирочкой, тоненькой, какой-то синенькой. Голосок у Ирочки такой, что даже боязно, — вдруг оборвется и навсегда пропадет.

Димка мельком глянул на тетю Машу, на ее Ирочку и спокойно продолжал есть борщ, а рядом стояла и ждала очереди миска с пельменями и стакан молока. Димка любил есть пельмени с молоком.

Димка с хрустом откусывает поджаристую корочку, хлебает борщ, а сам щупает пельмени — остыли или нет? Снова хрустит корочка, снова две-три ложки борща. Да так вкусно, да так смачно у него это получалось, что тетя Маша украдкой сглотнула слюну и отвернулась к маме.

А Ирочка так и впиалась глазами в Димку, смотрит — не моргнет. Точно так она смотрела цирковые представления. А потом, когда Димка взялся за пельмени, вдруг как запищала.

— Мама, я хочу кушать!

Тетя Маша смутилась: не подумала бы Димкина мама, что она свою дочь голодом морит.

— Ирочка, ведь мы только что из-за стола... Разве ты не наелась?

А Ирочка не сводит с Димки круглых глаз, пищит: — Кушать хочу! Димкина мама смеется и говорит:

— Посади ее, Маша, с Димой. Пусть отпробует пельмешек.

Отпробует! Ничего себе — отпробует! Навалилась Ирочка на эти пельмени, будто и в самом деле целую неделю голодала.

Тетя Маша сначала удивленно улыбалась, а потом забеспокоилась:

— Ирочка, хватит, животик будет болеть... Подумайте-ка, дома хоть с ремнем есть заставляй, а тут... Ира, кому говорю — довольно!

Так началась Димкина слава.

На другой день перед завтраком, когда Димка готовился сесть за стол, пришла тетя Маша. Какая-то робкая, смущенная.

— Простите Дима еще не завтракал?

— Сейчас садится.

Тетя Маша и обрадовалась, и смутилась еще сильнее.

— Знаете... Одолжите... То-есть я хотела сказать: отпустите Диму на завтрак ко мне. Пусть он Ирочку поучит есть... Я совсем измучилась — никакого аппетита у ней... Пожалуйста...

Мама сначала нахмурилась, однако разрешила Димке сходить к Ирочке и поест с ней.

Потом, во дворе, тетя Маша взахлеб рассказывала:

— Это просто чудо! Как только Дима сел за стол, Ирочка схватила ложку и принялась есть — без отрыва весь суп съела! Такого еще не было с ней. И котлетку, и пюре съела, и компот выпила...

Все соседки с большим интересом слушали тетю Машу, а одна спросила:

— В какой квартире живет Дима?

— В двадцать пятой.

— Вот бы к нам его... У меня с Юрочкой и Колей — просто беда. Совсем плохо едят. Худые — одни ребрышки...

И пошло-поехало. Как только Димка выйдет во двор поиграть, смотришь, и его какая-нибудь соседка уже к себе заманивает:

— Димочка, детенок мой хороший, пойдем к нам, в пятую квартиру. Поиграешь с Васей, а потом пообедаете с ним: я курочку сварила, рыбки поджарила...

Тут как тут и другая соседка:

— Евдокия Пепровна, это не честно: Дима у вас уже дважды был, а у меня только раз. Простите, но сегодня наша очередь.

Шурик, маленький, шустренький, схватился за Димкину курточку:

— Пойдем, Дима! Пойдем кушать со мной!

Димкина мама в отчаянии: ни на обед, ни на ужин не может найти Димку. Где он? В какой квартире? А когда стали за Димкой приходить жильцы из других домов, она стала сердиться не на шутку. Димка же — хоть бы хны! Ему даже очень интересно ходить по гостям, знакомиться с все новыми и новыми ребятами. У каждого разные игрушки, у каждого разные обеды и ужины.

Однажды мама запретила Димке совсем выходить на улицу. На другой день в квартиру нагрянуло целых пять соседок во главе с тетей Машей, чтобы выручить из беды Димку.

Они долго и громко говорили с Димкиной мамой в соседней комнате, в чем-то убеждали и просили. А когда вышли, то Димка услышал:

— Значит, договорились: наши дети и ваш Дима все вместе по очереди обедают у нас, у каждой, по очереди. Как в детском садике. Это всем на пользу: и здоровее будут и подружатся.

С тех пор, когда мама скажет: «Уже первый час, пора обедать», — Димка не спеша сует свою ложку в карман, говорит солидно:

— Ну, я пошел на работу. Сегодня у тети Вари будет новенький — Игорек из первой квартиры. Худой, как селедка. Я его возьму на буксир...

НА ШЕСТОМ ПОВОРОТЕ

РАССКАЗ

В Петровку мы ехали, как на праздник. Лукич, удачливый рыбак и надежный наш осведомитель, вернувшись с рыбалки, сообщил, что выше деревни, на шестом повороте, в прошлый выходной «свиристествовал окунь». Борис и я — подледники начинающие. Поэтому слово «свиристествовал» подействовало на нас, как валерьянка на кошку. Оно манило, раздражало, оцепеняло. Готовясь к рыбалке, мы налили всевозможных мормышек и запаслись разнокалиберной леской. Причем явное предпочтение отдали «тройке». «Ноль—два» хоть и удобней, но не так надежна. Она подходяща для нормального лова, а когда окунь свиристествует... Наше невежество щедро сдобривало фантазию. А кроме — ее сдобривал Мишаня.

Еще вчера, после разговора с Лукичом, он позвонил нам и безоговорочно заявил:

— Завтра — на Петровку. Окунь пошел, — для эффекта помолчал чуть, потом предупредил: — Снасть берите покрепче.

Мы с Борисом переглянулись, и я подтошничал:

— «Тройки» хватит?

— «Тройка» лишневата, в основном «двойку».

Только осталось — «двойку». Возьмешь и будешь ушами хлопать, если на килограммчик сядет. Однажды на «Блюдечке» мы уже попали в переделку. Шли как на подбор горбачи, а у нас лески «ноль—пятнадцать». Повиснет экземпляр, доведешь его до лунки... а то и не доведешь. У людей по чемодану рыбы, а у нас мормышек не осталось. Теперь мы ученые.

Путь до Петровки недолгий. Особенно когда подогревает перспектива. И заботы — тоже. Мы с Борисом только дорогой смекнули, что буры-то у нас у всех узковаты. Десять сантиметров в диаметре. Что это за бур? Граммов на семьсот окунь в такую лунку не пролезет.

— Не пролезет, — вторит нам Мишаня. — У меня на Хорьковке, помню...

Воспоминания Мишанины нас не радуют, и мы утешаемся лишь уверенностью, что на реке обязательно будет кто-нибудь с пешней.

— Как, Вадя, думаешь, будет? Из местных должны быть. Буров у них нет, только пешни... А ты как тащишь, если горбач сядет?

— Потихоньку.

— Нет, серьезно. До лунки дотащишь, а он не пролезает.

— Пролезет, куда денется.

— Ну да, а вот у Мишани на Хорьковке...

Вадим пожимает плечами и загадочно улыбается. Несколько времени едем молча, потом начинаем выяснять, какие у кого мормышки. Оказывается, что у нас с Борисом только желтые и красные. О белых мы как-то не подумали. Черт возьми, у меня же в летней рыболовной сумке лежит раскатанный серебряный полтинник. А если петровский окунь только на белую берет? Видимо, мы с Борисом подумали об этом одновременно, потому что одновременно же и набросились на Вадима:

— Вадя, у тебя есть белые?

— Слушай, Вадя, я на тебя рассчитываю...

Мы слишком часто рассчитывали на Вадю. Ему бы давно пора к этому привыкнуть. Но он привыкать почему-то не хотел. В нем иногда разыгрывали пережитки капитализма и показывал когти мелкий собственник:

— Когда кончится это иждивенчество! Сегодня мормышки, вчера — лески, позавчера и мормышки, и лески, и блесенки...

— Мы же начинающие, Вадя!

— Все начинающие.

— Ну, Вадим, имей совесть.

— Это я — совесть? Идите к черту...

Вадим выдергивал из кармана коробочку из-под зубного порошка, бросал ее на стол и сам демонстративно выходил. Вы, небось, полагаете, мы обижались и гордо отказывались от подачки? Ничего подобного! Хорошая мормышка для рыбака то же, что кусок хлеба для голодающего. Мы поворачивались спинами к двери, высыпали содержимое коробочки на газету и дружно набрасывались на Вадимово добро. Мы урчали от зависти и боялись, что выберем не ту мормышку. Разве угадаешь, на какую в ЭТОТ раз пойдет рыба. И мы... Нет, нам, честное слово, было неловко. Мы даже друг на друга взглядывали изредка. Лишь в те моменты, когда, вцепившись в одну мормышку, начинали тянуть ее каждый к себе. Возвращался Вадим, и мы смотрели на него ясно и преданно. Взамен самодельных мы пытались подсунуть Вадиму магазинные блесенки, но он отвергал их начисто. Мы деланно удивлялись, хотя и тогда уже знали, что ни один уважающий себя рыбак не привяжет пусть трижды великолепную, но купленную мормышку. Ибо

снасть, изготовленная на свой вкус, по своей руке, всегда надежней и милей фабричной.

На сей раз наши притязания Вадима не очень растравили. Правда, он что-то проворчал, но таким образом, что мы поняли: это так просто, по привычке. Что ж, кажется, и Вадима само слово «Петровка» располагало к благодушию.

Проехали Вершинку, добрались до петровского моста. Здесь нам надо спускаться на лед и ехать рекой. Легко сказать: ехать. Вчерашний буран подбросил снежку, а ночная поземка замесила из него крутые сугробы. И уже не едем мы, а ползем. Слава богу, что такого пути немножко. Шестой поворот — это всего километра полтора от деревни.

Сосновый бор, который начинается сразу за околицей, весел, как выдоравливающий больной. Трудно, видать, дается ему вчерашний буран. Вполобхвата деревья поломаны, какие у кроны, какие и вовсе у комля. А некоторые лежат, обнажив бесформенные переплетения жилистых корней. Почему-то картина эта связалась у меня с кораблекрушением. На миг я будто услышал окаянный вой бури и сухой треск ломающихся мачт. Всего на миг, потому что бор, по-моему, навевает печаль лишь в непогоду да ночью. В ясный же, безветренный день он благодатен. Какая грусть, о какой беде можно думать, если восходящее солнце в каждую сосновую иголочку вставило по изумруд! Деревья перестали восприниматься как реальность, они стали видением. Легким и неповторимым, как облака. Картины, подобные этой, у каждого вызывают свои ассоциации и свои воспоминания. Каждый думает о своем и какое-то время хозяйствует благодатная тишина.

Молчали мы до пятого поворота. До той самой поры, пока не увидели на шестом (мы уже именовали его «нашим») человека. Мы переглянулись и впились в черную фигуру-невеличку взглядами. Вадим решительно заявил:

— Машет!

Мы и сами теперь уже видели, что руки человека совершают движения такие знакомые и такие для каждого рыбака желанные. Будто исполняют они над лункой беспокойный ритуальный танец.

— Есть рыба, ребята, есть! — торжествуя сказал Мишаня и подмигнул зеркалу.

Мы с Борисом нервно зашевелились, переживая каждое движение человека у лунки. Мы еще не научились вести себя с достоинством. Это Вадим с Мишаней могли перебрасываться не относящимися к делу фразами. Мы же, едва машина остановилась, вытиснулись наружу и затопали к старичку. Было ему на вид около семидесяти. Мелкие черты лица, короткая седая щетинка стекала со щек на воротник реденькой вихрастой бородкой. Наше появление не подействовало на него никак.

Он поднял на нас тусклые, вроде бы отрешенные глаза, безликим голо-
сом ответил на наше «здравствуйте». Единственное, о чем полюбопыт-
ствовал:

— Из Барнаула, поди?

— Из Барнаула, дедушка... А вы давно сидите?

— Давненько, — ответил и покосился на мешок, в котором вози-
лась рыба.

— На что ловите?

— На разное ловим. Бормашишко есть?

— А как же.

— Тогда поймаете.

Мы и правда начали ловить. Только так, еле-еле душа в теле. Пока старичок десяток, Мишаня с Вадимом штуки по три, мы с Борисом — того меньше. Смена лунок не помогала. Пробурил я их, пожалуй, не меньше дюжины. Измотался основательно — одолеть метровый лед не шутка.

Как и всякий новичок, теоретически я был подкован на обе ноги. Разбуди меня в глухую полночь, я, ссылаясь на известные авторитеты, не задумываясь, мог бы сказать, какая снасть, по последним данным, рекомендуется как наиболее добычливая, какую насадку предпочитает та или иная рыба. А о местах ловли — и говорит нечего. Казались они мне в то время открытой книгой. Налим — ямы, щука — кромка травы, чебак, сорожка, елец... Повторяю, теорией я был напичкан сверх всяких мер.

Это теперь, после многих лет подледного рыболовства, я стал скеп-
тиком. Многолетние наблюдения поукоротили во мне прыти, и я очертя голову не ринусь в спор и не стану утверждать, что окунь, допустим, при любых обстоятельствах гнездится в коряжнике. Окунешка-секач — да, окунь же, тот самый, который не стучит по мормышке, а придавливает ее и при вываживании которого тебя одолевает неверие в леску «ноль пятнадцать», к коряжнику и глубине тяготеет далеко не всегда. В одних водоемах он утром берет на глубине, днем — на мели, в других — на-
оборот. В третьих облюбовывает дно травянистое, в четвертых — песча-
ное, в пятых... В общем, теперь я не полагаюсь на теоретические вы-
кладки. Каждый водоем своеобразен и ловля в нем конкретна. Если нет у тебя возможности прощупать его самому, не гнушайся толкований местных рыболовов. И примечай, постоянно примечай повадки рыб, на-
селяющих именно эту реку или озеро.

Поятное же дело, я не отрицаю теорию как таковую. Есть свои особенности, характеризующие каждый рыбный вид, есть общие методы лова, но они ни в коем случае не гарантируют удачи. Я, например, со своей стороны, никогда бы не применил для ловли, допустим, окуня в

Клепиках мормышек, которыми ловлю эту же рыбу на Соколовской протоке. Завьяловским рыболовам трудно рассчитывать на крупный успех, применяя снасть рыболовов хотя бы бурлинских... В рыбацком чемоданчике должна иметься снасть «на все случаи жизни». Тогда подледник не будет глотать слюнки у чужой добычи и тосковать, наблюдая за удачками.

Короче, ныне я верю в теорию разумно, тогда верил слепо. Я еще не мог даже приблизительно определить границы стрежня, его изгибов и бурил, бурил напропалую. Каждый куст казался мне окуновым, каждая подкосина — чебачьей кормушкой. Мишаня же, опытный змей, сил понапрасну не тратил. Он подошел к старичку и начал с сочувствия:

— Трудно, небось, дедушка, на рыбалку ходить стало.

— Ничего, мы привычные.

— А лунки-то долбить? Тут пока буришь — сопреешь, а пешней надолбишься и ловить не захочешь. Вы бы себе в напарники молодого взяли. Он бы прорубки делал.

— Мы и сами потихонечку. Торопиться куда? А напарник нам лишний. Собаки, пусть самые дружные, каждая свою кость в одиночку грызет. Примечал, небось?

Миша не возражал. В данный момент его интересовали не социально-собачьи проблемы, а мормышка, на которую ловил старичок. Тот, видимо, это заметил и начал хитрить. Вытащив очередную рыбу, он мохнатой рукавицей закутывал ей морду, а когда наживлял крючок, тщательно оберегал мормышку от Мишаниных взоров. На помощь Мишане явился Вадим, но ушлый старец умудрялся укрывать свою снасть от обоих. Делал он это так искусно, что у меня мелькнуло невольное соображение: огромные рукавицы-мохнашки сделаны им с двойной целью.

Наконец Миша не выдержал и кинулся в лобовую атаку:

— Папаша, мормышка-то у вас какая?

— Чего, чего? — старичок одной рукой приподнял ухо шапки, а другой поспешно сунул мормышку в воду.

— Мормышка какая у вас?

— А чего в ней, в мормышке? Как у вас — железная.

— Как железная? — не понял Миша.

— Ясно — не деревянная. Значит — железная.

— Может, свинцовая? — вмешался Вадим.

— А чего, ты свинцовая может быть. Склепай и дергай. Я вот склепал и дергаю.

— Покажите.

— Кого тебе показать? — Старичок положил мотылек на край лунки, хлопнул одной мохнашкой по другой и вдруг ни с того ни с сего

рассвирепел. — Чего тебе моя снасть? Я в твой карман не лезу. У тебя там, может, тыщи, мне ты все одно не дашь. Сиди и лови, что добудешь — все твое.

— При чем здесь тыщи? — Вадим попытался быть миротворцем и не погнушался лестью. — Мы всегда у старых людей учимся.

— Есть свой дед, у него учись. А моей грамоты на тебя не хватит. Шагай, шагай к своей прорубке! У чужой будешь стоять, рыба в мешок не полезет.

— Эх, дед, дед, — Вадим махнул рукой и пошел к лунке.

— И что, что дед? У деда зубов нету, а наедаюсь я всех наперед. — Старичок натянул мохнашки и вопросительно глянул на Мишу. — Ты чего стоишь? Тебе что, своего попа надо?

Миша отошел, но, как оказалось, не побежденным. Просто это была временная ретирада. Направился он не к лункам, а к машине. Через некоторое время с той стороны раздался его торжествующий призыв:

— Братцы, завтракать! Дедушка, идите с нами завтракать.

Впервые с нашего знакомства взгляд старичка обрел осмысленное выражение. То ли интерес в нем появился, то ли недоумение, во всяком случае, исчезла из него мутная стеклянность и какое-то чувство нашло себе выход. Однако отозвался старичок по-прежнему недовольно:

— Что меня харчить, я вам добром не помог. А играть надо мной — тоже маленькое дело.

— Почему играть, что вы, дедушка! — непостижима быстрота, с которой Мишаня вновь объявился у дедовой лунки и заворковал. — Сосиски горяченькие... Только скорей надо, пока не остыли. Остынут — вкус не тот.

— Чего ты мне рассказываешь, я эти сосиськи пробовал, ты еще не выродился. И в первую мировую пробовал, и в Отечественную. — В голосе деда уже не было раздражения. Только ворчливость.

А я помогал Мише, рассыпался мелким бесом:

— Не хотите сосисок, тогда коньячку. После коньяка и на льду вселей сидеть будет.

— Мне и так не скучно, — старичок недвусмысленно глянул на мешок с рыбой. — Коньяк-то какой? «Мартын» небось?

— Какой «Мартын»? — опешил я.

— Коньяк такой есть, «Мартын». Ты вон и не пробовал даже! — Дед победно заторжествовал. — А я под Перемышлем, еще в пятнадцатом году, до шишбачек его набрался. Как самогонку, мы его там попили, когда немца погнали. Говорят, будто французы его гонят.

— «Мартини»! — сообразил я.

— Как его по-ихнему, я не знаю, а по-нашему ему «Мартын» фамилия.

— Нет, у нас другой. У нас молдавский, «Ниструл».

— Знаю я Молдавию, освобождал. Кишинев у них там главный город. Навроде наша Москва.

— Совершенно верно, Кишинев. Пошли, дедушка, коньяк марочный.

Дед положил мотылек, придавил его мешком, сверху водрузил рукавицы.

— Так ладно будет. Леска не вмерзнет.

Это нас уже устраивало. Коли старичок заботится о том, чтобы не вмерзла леска, значит общаться с нами намерен основательно.

Теперь нам оставалось полагаться на дипломатию. Рюмка коньяка, как известно, значительно облегчает и упрощает эту задачу. Весь вопрос здесь, как правило, сводится к счету: которая? Для старичка решающей оказалась третья. Воспринял он ее, зажевал степенно сосиской и неожиданно сказал:

— Будя. Рыбачить надо.

— Как рыбачить? — растерялся я и поспешно наполнил дедову чеплашку. — Вон сколько коньяка осталось, что ж его — выливать теперь?

— Сказал: будя! — Старичок взял посудину сверху в пригоршню, отставил на угол чемодана, заменявшего нам стол, и без перехода спросил: — Снастью моей интересуетесь?

— Вообще-то, посмотреть не мешает.

— Что думаете, я насчет коньяка не понял? Умные вы ребята, понимаете, стало быть, что задарма и чирей не садится. А снасть у меня здешняя, петровская. У вас, небось, фабричная? Фабричная здесь не идет. Сколь городских приезжало, все по малу ловили.

— У нас хоть и самодельная, все равно плохо выходит.

Я ожидал, что старичок попросит показать, чем мы ловим, и долго будет критиковать каждую мормышку в отдельности. Так обычно, прежде чем раскрыть свои секреты, отводят душу местные рыболовы. Но старичок рассуждал, видимо, по-своему: «Пил чужой коньяк, расплачивайся, не изводи людей». А может, им просто-напросто руководило желание побыстрее вернуться к лунке. Может, то и другое вместе, но только он не куражился. Вытащил цветастую тряпицу, из нее — бумажный пакетик. Развернул его и вытряхнул на скрюченную, клешневатую ладошку:

— Вот моя снасть. Видали такую?

Нет, таких мормышек мы доселе не встречали. Ромбик, овсинка, капелька, дробинка, «окуневый глаз», «восьмерочка»... да несть числа, сколько нам пришлось зрить мормышек. Пирамидки же мы видели впервые. Крупные, ярко начищенные оловянные пирамидки, в вершины

которых были впаяны кованые крючки «шестерка». Мы вертели пирамидки в руках, определяли их вес, приблизительно устанавливали углы схождения, а старичок толковал о том, почему блесенки добычливы:

— Снасть ловливая, врать не хочу. Да что врать, сами видали. Вы две, я — десяток. Не знаю, как где, а здесь такая нужна. Я чего не перепробовал. По первому льду надо пробовать, когда мормышку подо льдом видать. Другие мормышки которые переваливаются, которые ныряют. А у моей — качание происходит. На качание окунишка и приходит. Любит он качание...

— Это какой же вам окунь сказал? — не удержался Вадим.

— Чевой-та, чевой-та?

Пока старичок соображал, что к чему, Вадим бил отбой:

— Да нет, это я так, сам с собой... У нас приятель прошлый выходной на этом месте был, хорошо поймал на обычную свинцовую капельку.

— Э, прошлое воскресенье... Прошное воскресенье жор был. Окунь целый день опустить мормышку не давал. Когда у него жор, ему подкову от сапога кинь — поймается. А у моей снасти качание происходит, а качание...

До сих пор не знаю, происходит у пирамидки качание или не происходит, но в тот год на Петровке она «работала» отменно. В пору самого глухого февральского бесклевья у нас всегда было «на уху».

А пока рыба ловится, рыбак не теоретизирует. Зачем ему это?

ЗУБЫ НОЮТ

РАССКАЗ

1.

— Ну, жинка, зубы мозжат!

Зубы у Василия Даниловича ноют перед пельменями и ухой. Бывает вот такая особенная, фанатическая влюбленность в то или иное блюдо, что не вид его, не запах, а просто упоминание о нем вызывает ощущение, будто зубы одрябли, обмякли, занули, как это случается с ними от нестерпимо горячей еды. Но если он говорит о можжании зубов перед выходным днем, значит, надо понимать его в иносказательном смысле: стосковался по лесу, по реке и готовится к поездке с радостным нетерпением...

У человека, не равнодушного к жизни, может быть много привязанностей. Мастер участка полуавтоматов Василий Данилович Горбарук не мыслит своего существования без механического цеха, вечно живого, неумолчного, дающего жизнь умным и сложным машинам. Но после недельной сутолоки, после пропотливых дел, увлекающих своей полезной необходимостью, он принимает лесную тишину и свежесть, как награду. И чем старше становился — пятый десяток на исходе, — тем больше по выходным тянет «на природу». Ради этого, собственно, и мотором обзавелся. Купленный с рук «Запорожец» первого выпуска с виду неказист, поношен, местами помят, однако с ним не зависишь ни от строгих графиков движения поездов, ни от капризных расписаний речных трамваев и теплоходов. Выпали свободные часы, сел и поехал, куда тебе надо.

Ездит старый мастер обычно с женой Полиной, часто приглашает с собой родичей и знакомых. Вдвоем хорошо, а компанией веселее. К тому же хочется сгладить неловкость перед «безмоторным человеком», лишенным такого жизненного удобства, каким пользуется он, мастер Горбарук.

В эту субботу он повез с собой супругов Прокошиных. Знакомство почти шапочное: здрасте — до свиданья. Живут в одном доме, только

и всего, а в том доме больше ста семей — со всеми не перезнакомисься.

Раза два с Борисом Прокошиным встречались во дворе за шахматной доской, затем ездили к нему в сад. Борис Иванович как бы ненароком посетовал на то, что сад у него далеко от остановок автобуса и трамвая, что он до сих пор не вывез домой огурцы, а там уже смородины народилось — пруд пруди! Василий Данилович понял намек и предложил свой транспорт.

Сад Прокошиных понравился ему: добротню оборудован, заботливо ухожен, сорняков нет и в помине. Лук так лук, помидоры так помидоры — все в чистом виде, ни одной травинки. Домик собран из разной древесной обрезки, из отбросов, но каждая дощечка так старательно подогнана, а общий рисунок стен настолько причудлив — ни дать ни взять потрудились художник, набивший руку на сказочных картинках. Внутри домика обои спокойной расцветки, снаружи веселая покраска, кругом цветы, посыпанные песком дорожки, нигде ничего разбросанного, неприбранного, инструмент, инвентарь — все в ящиках, на своем определенном месте. Кстати сказать, и ящики эти, и бак с водой покрашены голубой краской и не портят, как в соседних садиках, общий вид своим гнусным ржавым видом. Побеленные понизу деревца отяжелели от плодов, янтарных, пурпуровых, карминных. В этом райски уютном уголке не хватало только соловьиной песни.

О Борисе Прокошине старый мастер думал: «К нам бы в цех его...» Крепкого, жилистого склада человек, он работал без суетолики, однако споро, податливо. Не успел Василий Данилович оглядеться в саду, как уже куча огурцов была собрана в мешки, а мешки приторочены к верхнему багажнику машины, спелые помидоры собраны в корзины. Как бы мимоходом Борис Иванович успел поправить похилившиеся опоры в помидорных кустах, подвязать к ним ветки.

— А это что такое, Галина Петровна? — Прокошин поднял длинную ветвь ранета, склонившуюся под тяжестью плодов до самой земли. — Говорил же вам с Гришкой: поставьте подпорку. — В голосе хозяина — обида, горечь, упрек. — А если дерево разорвет?

— Забыла, Боря, ты уж не сердись. — Галина Петровна, жена Прокошина, растерянно хлопала мешковатыми веками. — Ты же знаешь, поздно вчера поехали, торопились.

Борис Иванович кинул в ее сторону обжигающий взгляд, сказал тоном приказа:

— Неси палку. С развилкой. За малинником лежит.

Несмотря на свою полноту, женщина чуть ли не бегом кинулась в малинник, через минуту вернулась с ошкуренной ивовой палкой кремового цвета.

— Вижу, по-хозяйски у вас дело поставлено, — заметил Василий Данилович, помогая крепить подпорку.

— Поставишь с ними по-хозяйски, — проворчал Прокошин, кивнув седеющей головой в сторону жены. — Абы как! Эту вечная торогучка заела, а тому лоботрясу вообще ничего не надо. Институт кончает, а ума не набрал. Иные ведь как? Лишь бы корочки получить да денежный пост занять. Ум ни к чему. Научился оберегать мягкое кресло и ладно. Я бы таких работников пряжкой порол!

Может быть, излишне резковат этот самый Борис Прокошин, но, видать, трудолюб каких поискать. Сегодня вот перед поездкой в лес помог две камеры завулканизировать, колеса подкачать. И в дороге с ним благодать. «Запорожец» боится глубокого песка, а в приобских борах этого добра по самую шею. Села на все свое широкое брюхо машина, так Прокошин не дал Василию Даниловичу лопату в руки взять, горы песку набросал на обочины.

— Устал ведь, отдохни, — пытался подменить его Василий Данилович. — Дело для меня привычное.

— Сиди уж ты со своим животом, — досадливо отмахнулся Прокошин, походя вытирая пот с лица мягким рукавом штапельной рубахи.

Василий Данилович хмыкнул, поперхнулся, словно хинин проглотил. В самом деле, за последние годы полнеть стал. К старости, что ли, организм жирком запасается? На то, видно, случай, если зубы вывалятся.

— Обиделся, небось? — толкнул Прокошин локтем Василия Даниловича, когда машина вырвалась из леска и снова сели каждый на свое место: Борис Иванович рядом с водителем, а его жена позади, между ведрами и корзинами.

Свою супружницу Горбарук на этот раз не взял с собой, чтобы побольше оставить свободного места в машине. Если уж Прокошины упростили свозить их по грибы, то пусть нагружают «Запорожца» без стеснения.

— Ты на меня не сердись, — продолжал Борис Иванович. — Пригласил меня в свои лесные владения — терпи такого, каков я есть.

— Чего сердиться? — добродушно отозвался Василий Данилович. — Как говорится, факт налицо, под узким очкурком не спрячешь.

— Богато, видно, живешь, если и машину завел, и ремешок не подтянул.

— Как тебе... сказать. — Дорога виляла между деревьями, Василий Данилович проворно крутил баранку то вправо, то влево и от натуги, от того, чтобы не ослабить внимания и не ткнуться в сосну, говорил с длинными паузами. — Несколько лет копил... Премияльные — на сберкнижку, рационализаторские... туда же... Хорошо еще... бывший хозяин

машины — мужик покладистый... Только и взял лишку, что на скромный магарыч... Да это не в счет — вместе выпили.

— А теперь машина кормит?

— Это как понимать? — Василий Данилович слегка повернул массивную голову, бросил на соседа косой взгляд.

— Запросто понимай: ягод привезешь, грибочков, рыбки и всего прочего.

— Бывает, бывает...

2.

Остановились возле озера, длинного, свернувшего куда-то влево, за лесистый увал, и глубокого; что оно глубокое, можно догадаться с первого взгляда по крутым берегам, по обширным прогалинам между камышами, остролистом, лопухами лилии. На водной поверхности расплывались легкие круги — ловил что-то муль.

— Сетешку бы сюда, — мечтательно почесал затылок Борис Иванович. — Возишь, небось?

— Обхожусь удочками.

Василию Даниловичу снова понравилась основательность и хозяйственная жилка Прокошина. Не кинулся мужик сразу же за грибами, а начал палатку ставить, табанок мастерить. Жить предстоит здесь больше суток, значит, нужно создавать удобства.

После обеда Горбарук повел Прокошиных в лес, чтобы показать богатые поляны. Несмотря на то, что был грузным, он шагал легко, уверенно, будто сами ноги сквозь резиновые сапоги видели в густой немятой траве, куда ступать. Борис же Иванович запинался за кочки и сучья, чертыхался, бранил эту треклятую чашобу. Чудак, неужели не понимает, что лес — он и есть лес, куда более приглядный со стороны, чем изнутри. Глянешь на опушку, так он манит своей прибранностью, нарядностью, ласкающим взгляд зеленым убранством. А внутри всякое бывает: и буреломы, и валежины гнилые, и сучья в траве, обломленные ветром или срубленные человеком, и где-нибудь между могучими соснами и березами угнетающе жалкие деревца, которые тянулись-тянулись к солнцу, да так и не дотянулись, не набрали толщины, солидности и согнулись в дугу под тяжестью собственного веса, уперлись жидкими кронами в землю.

Лесная неудобница удручает разве только новичка. Кто к лесу привык, для того всякие колодины-валежины представляются неизбежными, как всякие другие отходы жизни. А красоты леса надо уметь видеть и понимать. Главная его красота — это тишина, свежесть, тень в жаркую погоду, здоровый воздух, настоящий на хвое, на травах и цветах.

Показав Прокошиным, где надо искать грузди, Василий Данилович пошагал обратно на стан. Груздей он уже насолил — хватит на первое время, а на зиму еще успеет припасти, главная грибная пора впереди. Надо на этот раз оставить побольше места в машине для Прокошиных.

День солнечный, безветренный, ни малейшего шума в кронах, а другими звуками августовский лес не богат. У пернатых певческое время давно кончилось, теперь усиленно кормятся, готовясь в дальний путь, лишь тенькает где-то синичка да отчаянно колотит сушиду вечный труженик дятел. И трудно же достается бедняге хлеб насущный!

Время от времени Василий Данилович останавливается и удивленно качает головой. Ни в одной галерее не увидишь таких картин, какие создает сама природа. Попробуй-ка напиши вот эту полянку возле стайки молодых сосенок! Зеленая травка будто обрызгана красными и сизоватыми соками. Брусника с черникой. Ягоды еще не дозрели, к следующему выходному, пожалуй, дойдут, можно будет побрать. А там рясы куст калины — приютился у развесистых берез и как бы осветил все вокруг яркими опоньками ягодных кистей. Ну, а мимо этого чуда уж никак не пройдешь! Сосна повалена ветром павзничь, но цепляется еще частью корней за матушку-землю и продолжает зеленеть живой смолистой хвоей. Жить продолжает! Нынешние побеги на концах ветвей не протянулись вдоль лежащего ствола, а торчат вертикальными свечечками. К солнцу тянутся! Вот она какая цепкая, жизнь!

Достигнув стана, Василий Данилович накачал резиновую лодку, отплыл с удилышками на небольшое «зеркало», стал на тычку, набросал в воду пшенной каши. В августе карась неохотно идет на удочку, но чем черт не шутит. Погода-то больно хороша, самая карасинная. Впрочем, если и брать не будет — не беда, заняться есть чем.

Он закинул удочки, несколько минут смотрел на неподвижные поплавки. Сухо шелестели крылышками стрекозы, откуда-то издали доносились крики: мужской полос надсадно звал Федю, мальчишеский — Галю. Да, брат, лес — он и есть лес. Не знаешь его — не храбрись, не отрывайся от компании. Где-то повернул направо, где-то налево, незаметно для себя в поисках ягод или грибов описал дугу или круг, и вот потерял направление, не знаешь, в какой стороне стан, где прибывшие вместе с тобой люди, и огорочь возьмет, и закричишь маму. Прокошины пока молчат, значит, у них все в порядке, не растерялись.

— Не клюете — не надо. Могу и червяков из воды убрать, — пострашал Василий Данилович карасей. — А черви-то леском пахнут... Он достал из кармана лежащего в лодке плаща блокнот с шариковой ручкой. Дома некогда было подумать, подсчитать, а дело неотложное. В голове — скрипучий голос мастера сборки Плахина, его сер-

дито подрагивающие черные с проседью усы: «Снова на голодном пайке нас держите. Шкивы давайте!» Если перенести обточку с простых станков на полуавтоматы — это же насколько ускорится дело! Только требуется хитроумное приспособление, а оно никак не рождается.

И сейчас Василий Данилович чертит и этак и так. Не то! Торчит перед глазами лупоглазый и губастый Петька Орешкин и никуда от него не денешься. Да что же ему от старого мастера надо?

Василий Данилович снова смотрит на неподвижные поплавки, переводит взгляд дальше — на торчащие из воды верхушки остролиста, на лениво распластавшиеся глянцеватые листья кувшинника, на камыши с темно-коричневыми пуховалками. И еще дальше, на безмятежный, задумчивый лес, на голубую вечность в вышине. Легко и покойно. Самое бы время стишки припомнить этакие лирические, поразмышлять о вечности вселенной. А тут шкивы. А тут лупошарый Петька. Бросил прошлой зимой, поганец, учиться. Токарем стал, так и грамота не нужна? В свободные часы баклуши бьет, как бы с хулиганьем не связался. Надо поговорить с родителями, пускай заставят нынче ходить в школу...

Под рукой дрогнуло удилишко. Глядь — нет одного поплавка на воде. Василий Данилович рывком подсек рыбу, и вскоре увесистый бронзовый карась дрыгал хвостом в широкой ладони.

Василий Данилович подумал об ухе, и у него заныли зубы.

3.

Утром, едва рассвело, он снова сидел в лодке с удочками. Полина обожает карасей в сметане — надо же ее ублажить. Рыба брала лениво, а часам к одиннадцати наотрез отказалась от попахивающих лесом червяков.

Прокошиных не оказалось на стане, значит, продолжают свои поиски. На подстилке куча подосиновиков, волнушек, рыжиков, маслят, сухих груздей. Василий Данилович взглянул на них мельком, пронося лодку к коренастому дереву.

Что такое?! Глаз отфиксировал, а до ума дошло только тогда, когда уже успел приставить лодку к сосне для обсушивания. Ножки-то у грибов с черными концами! Что же это они, грибки поганые, делают? У обоих вчера ножи в корзинах лежали, а грибы вырваны с корнями. Кто их гонит, этих Прокошиных, для чего торопятся? Понятно, хочется побольше собрать, так и времени для этого хватит с лихвой, только что день начался. Предупредить их, да чернички немного набрать — с молоком дома пойдет.

Взяв бидон, Василий Данилович поспешно пошагал по тропочке. Вчера еще ее не было, а сегодня уже ясно обозначилась на рослой

траве. Чем дальше шел, тем больше досадовал. Под каждой сосенкой, у каждого пенька черные свежие накопы, будто свиньи взрыли прель. Тот самый слой прели, который накапливается десятилетиями, а то и столетиями из травы, мха, опадающей с деревьев листвы и хвои и который способен рождать лесное чудо — грибы.

На копанине след каблука с подковой. Вчера Василий Данилович видел этот след на песке, когда Борис Прокошин откапывал машину.

За молодым сосняком, посаженным, как можно понять по прямым рядам, человеческими руками, открылась обширная елань с редкими деревьями, пеньками, кустами калины и боярки. Из конца в конец елани тянутся борозды, пропаханные плугом. Пропаханы они, видать, несколько лет назад, края обомшели. В бороздах выросли крошечные сосенки, проросшие из семян. Кто-то пахал, сеял, может быть, в засушливое лето поливал водой. И вот тут тоже след кованого сапога: некоторые сосенки сломаны, другие выбиты с корешками или вдавлены в землю. Конечно же, куда легче ходить сравнительно ровной бороздой, чем рядом с ней продираешься сквозь густую траву, спотыкаться о пеньки и кочки!

И сразу же вспомнился Василию Даниловичу картинный садик за городом, сказочный теремок, яркие цветы и посыпанные песком дорожки. Кровь бросилась в голову.

Он вернулся на стан, сорвал палатку, начал поспешно собираться к отъезду. Когда пришли Прокошины с наполненными корзинками и ведрами, Василий Данилович, не глядя на них, решительно объявил:

— Едем домой!

— Хотели же до вечера...

— Едем! Вспомнил: футбол сегодня.

Василий Данилович никогда не увлекался ни футболом, ни хоккеем и в этом отношении считал себя безнадежно отставшим от века. Но теперь нужна была дипломатическая увертка, и он соврал. Начни говорить о действительной причине, можно сорваться и накричать.

В дороге Борис Прокошин намекал:

— А ведь может появиться еще приб-боровик.

Василий Данилович молчал.

— Не мешало бы запастись брусничкой, — говорил Прокошин. — Вкусна, полезна, может в сахарной воде годами храниться.

Василий Данилович молчал.

— Я бы сегощки мог прихватить, — говорил Прокошин. — Карась тут отменный!

Василий Данилович молчал, стиснув челюсти.

Звезды над озером

ОЧЕРК

Уполномоченный по эвакуации Перекопского бромного завода нервничал. Он был наделен большими правами, но того, на чем настаивал директор завода Верещагин, выполнить не мог.

— Поймите, — горячо доказывал Верещагин, — я кадровый военный. Мое место там! — Он показывал рукой на окно, в ту сторону, откуда должны были не сегодня-завтра войти в город фашисты. — На передовой мое место.

Уполномоченный с открытым интересом рассматривал директора. Невысок ростом, сухощав, подтянут. Военного человека узнаешь за версту. Московский товарищ видел и в жестах, и в выправке директора вчерашнего командира. Он даже отчетливо представил его в гимнастерке, со шпалами в петлице.

— Мне известен ваш послужной список, Глеб Сергеевич, — сказал уполномоченный и, пожав плечами, добавил: — Но это ровно ничего не значит. Вы должны понять: для фронта важнее иметь вас директором завода. И к тому же, — он помедлил, — с вашим здоровьем много не навоеешь. У вас... Как бы это сказать?... Двойная броня.

Уполномоченный улыбнулся и развел руками, предлагая закончить разговор на бесперспективную тему.

— Отдавайте приказ об эвакуации завода, а сами отправляйтесь в Москву, в распоряжение наркомата. — И уже совсем неофициально, дружески закончил: — И о семье не беспокойтесь, Глеб Сергеевич. Я позабочусь...

Это было осенью сорок первого года. Фашистские войска уже всту-

пили на территорию Крыма и стояли в двадцати пяти километрах от завода. Поэтому подниматься надо было быстро. И директор приказал: «Ничего с собою, кроме самого необходимого — смены белья и продуктов, не брать!»

Правительство направило Глеба Сергеевича Верещагина на Алтай. «Разведайте, — сказали ему. — По некоторым данным, там есть необходимое сырье. Задание чрезвычайно срочное. Поторопитесь!»

В ноябре Верещагин был на месте. Дикой, неприветливой предстала его взору Кулундинская степь. Неоглядная ширь, в которой и ветру не за что зацепиться.

Верещагин еще в Москве изучил все, что имелось в научной литературе о Кулундинских озерах. Теперь ему предстояло провести ревизию самому и выбрать место для строительства завода. Где на перекладных, где пешком сновал он от озера к озеру. Они поражали его своеобразием и богатством минеральных солей. В Кулунде множество озер — по некоторым подсчетам, более трех тысяч. Есть огромные, вроде Кулундинского, водное зеркало которого 740 квадратных километров, есть совсем крошечные. Свообразие же озер заключено в том, что здесь в непосредственной близости соседствуют пресные и сильно минерализованные водоемы. Но еще более загадочно то, что минерализованные озера насыщены солями разного характера. Верещагин с небольшой группой специалистов брал пробы на Кучуке и Большом Яровом, Кулундинском, Бурлинском. «Какое богатство!» — изумлялся он. Здесь, в Кулунде, он еще раз ощутил огромность ленинского кругозора, поразительный дар предвидения Владимира Ильича, который еще во время нэпа, в 1921 году, обратил внимание на алтайские озера, предложил построить здесь Петуховский содовый завод, написав тем самым красную строку истории алтайской химии.

Верещагин сердцем почувствовал близость времени, когда полностью раскроются сокровища кулундинской химической кладовой. Недалекое будущее этих озер представлялось ему в виде каскада предприятий, вырабатывающих самые необыкновенные вещества. Он был мечтателем, Верещагин! Но мечтателем трезвым, практичным.

Когда были получены результаты проб озера Большое Яровое, он сказал:

— Завод будем ставить здесь!

Верещагин остановил свой выбор на Большом Яровом по многим причинам.

Во-первых, озеро плотно насыщено бромистыми солями: значит, можно создать мощное производство и организовать добычу химического сырья наиболее эффективным методом простого выдувания. Сбрасы-

вать отработанную рапу можно обратно в озеро, и это не повлияет на концентрацию солей в нем. Во-вторых, железная дорога. В-третьих рядом город — можно на первое время разместить там рабочих.

Ответа на докладную Верещагина пришлось ждать недолго. Поистине в полном соответствии с военной обстановкой выглядели в приказе наркома химической промышленности сроки проектного задания и строительства завода. Так, на составление проектного задания давалось всего... полтора месяца.

В Москве, куда вызвали Верещагина после решения вопроса о строительстве, его утвердили директором будущего завода и предложили подобрать специалистов по проектированию и строительству предприятия. Он нашел таких специалистов и вместе с ними отправился на неласковые берега озера Ярового.

Тут были работники разных научных учреждений и промышленных предприятий страны. Их родные институты и заводы были «под немцем», и каждый горел желанием возместить утерянное на алтайской земле, посылно мстить оккупантам. От зари до зари, не замечая смены суток, колдовали специалисты над чертежами и химическими приборами.

А рабочие уже долбили мерзлую землю, рыли котлованы под заводские фундаменты, устраивали себе «кротовые норы» — землянки и жили в них, согреваясь порою лишь собственным дыханием.

Рано поутру, когда еще темень хоть глаз выколи и озеро глухо плещется неподалеку, загорались огоньки. Люди выбирались из землянок и торили дорожки по свежему снегу к первому цеху, каркасы которого освещал неверный свет раннего костра. Прожекторов не было, а если бы и нашелся какой, не хватило бы энергии, чтобы накаливать его. Проектировали, строили завод и готовили его к пуску одновременно. Никто не видел, когда отдыхал Глеб Сергеевич Верещагин, потому что и днем и ночью он был рядом — там, где налаживалась новая жизнь и рос завод. Его завод. Завод, который был нужен стране и за своевременный пуск которого он отвечал по всей строгости военного времени. Он отвечал тогда, когда неистовый степняк срывает стропила, и тогда, когда изнуренные голодом и непосильным трудом подростки засыпали тут же, возле нежаркого костерка.

На самые решающие и трудные участки устремлялись коммунисты. Их было немного на стройке. Но это было огненное ядро коллектива, которое раскаляло энергию людей, разжигало соревнование, девиз которого был: «Все для фронта, все для победы!» Девиз, под которым трудился тогда весь народ.

И вот, наконец, приказом наркома завод был включен в число действующих с 1 июня 1944 года. Этот день и считается днем рождения завода.

Продолжалась война. И хотя раскаты ее уходили все дальше на запад, она еще требовала огромного напряжения, она призывала к новым усилиям. Война еще шла, испытывая силу духа народа. Но даже тогда, когда прозвучит последний, победный залп, она не кончится. Ее последствия будут сказываться еще много лет, пока страна окончательно залечит раны и полностью возместит нанесенный ущерб. Еще будут карточки и талоны, очереди, будут бараки и землянки. Голод и холод, испытания на излом. Но души людей уже в конце войны начали оттаивать. Люди с надеждой смотрели в будущее и видели его прекрасным.

Подростки и женщины составляли тогда основную массу рабочих почти во всех цехах. Надолго запомнилась Верещагину история с Борей Фарбером. Боря, пятнадцатилетний мальчишка, жил в землянке с таким же пареньком Борей Афанасьевым. Семья — в Славгороде. Отцы на фронте, а дома мать да младшенькие братья и сестры. Вот и бегали туда каждый день, относили им свой хлебный паек. А сами кое-как. В землянке холодно. Намерзнут, а потом на работе угреются у пароподогревателей — душно, зато тепло. И... заснут. А то спросонья что-нибудь невпопад сделают.

Однажды слесари остановили турбину, разобрали дизель и накачали им:

— Вот вам факелы, время от времени подогревайте трубу подвода воды...

Чтобы не замерзла, значит. Вот ребята и подогревали. А кругом масло разлито. И случилось так, что кто-то из них недосмотрел — загорелось масло, а там и весь дизель вспыхнул. Дети есть дети! Испугались, бросились вон, закричали:

— Пожар!

«Пожар, ТЭЦ горит», — сообщили директору. Весь завод поднялся по тревоге. Потушили. А у директора несколько седин появилось в волосах в те минуты.

Вообще-то, конечно, с техникой безопасности тогда было проще: тут и факелы, и костры. Костер, можно сказать, в технологическую цепочку входил. На нем, к примеру, обжигали металлическую стружку для первого цеха. И пожарники молчали. А попробуй сейчас! Спички и те в проходной отбирают. Конечно, строгости тогда было больше — военное время. Но сама обстановка вынуждала обходить многие запреты. Приходилось мириться.

Точно так же, как мирились с тем, что дети выполняли работу наравне со взрослыми.

Как-то Глеб Сергеевич и начальник механического цеха Петр Лукич Протасов застали в механическом цехе футбольную баталию. Ребятишки гоняли из угла в угол тряпичный мяч. Так увлеклись, что не заметили прихода начальства. Протасов хотел было уже гаркнуть на них, но директор осторожно взял его за руку и вывел за дверь.

— Пусть поиграют немного. Дети же...

Потом, когда ребята узнали, что директор пожалел их, отстояли сверх нормы, но задание перевыполнили.

У Петра Лукича Протасова в цехе было в то время полтора десятка подростков по 14—16 лет и двое взрослых — жестянщик Натан Ильич Зильберт и инструментальщик Александр Седаков. Самые квалифицированные — Борис Дашковский и Илья Комиссаров, которым еще не было шестнадцати лет, и пятнадцатилетний сварщик Николай Ремеш...

Если вы пройдете сегодня вдоль берега озера, поблизости от заводских строений — там, где ТЭЦ и первый цех, вы увидите небольшие ямки, рывины и всхолмления. Это следы жилищ первых поселенцев Ярового. Лишь глазу старожила откроется картина прошлого...

Дошатый пол землянок служил прокладкой, отделяющей «квартиру» от подпочвенных вод. Тесная печурка, в которой, согласно известной песне, «бьется огонь». Бьется, если есть дрова. А топить зачастую было нечем. Не лучше обстояло дело и в бараках, построенных на скорую руку. Крыши их, как и землянок, были обмазаны глиной. В дождливую погоду укрыться негде. Из всех щелей текла вода. Директор с женой и двумя ребятишками жили в комнатке в щитосборном домике на несколько семей. Всего два таких домика стояло на берегу озера. В них поселились специалисты и руководители предприятия. Два крошечных домика, которые в поселке в шутку называли «небоскребами». Холодные, неуютные «небоскребы»...

Первый медик Ярового, ныне заслуженный врач РСФСР, Зинаида Игнатьевна Массальская рассказывает такой случай. В апреле талые воды не знали пощады. Они жадно размывали на своем пути все. Землянки были их самой главной добычей. Однажды часов в двенадцать ночи врага срочно вызвали к роженице. Когда Зинаида Игнатьевна начала спускаться по земляным ступеням в жилище молодых родителей, она вдруг поскользнулась и к своему ужасу угодила прямо в ледяную ванну. вода в землянке поднялась уже не меньше чем на полметра.

В землянке стояла кровать, на которой страдала женщина, стол, плита — вот и все убранство скромного жилья. Дошатый пол всплыл от подступающей воды.

За четыре часа, пока шли роды, вода поднялась почти до матраца.

А когда появился на свет новый житель Ярового — пухленькая розовенькая девочка, женщину с ребенком пришлось срочно переносить в здравпункт. Вызвали пожарную машину, откачали воду и снова поселили молодую мать с младенцем в ее дом. Больницы тогда еще не было.

Директор завода в течение нескольких лет из своего фонда выдавал деньги на покупку медикаментов для здравпункта и бесплатного лечения яровчан. Но плохие дороги, нехватка транспорта заставили «треугольник» завода — дирекцию, партком и профком — задуматься об открытии больницы. Крайздрав категорически отказал — не было у крайздрава в плане такой больницы. Тогда Верещагин лично обратился к министру здравоохранения — и вне всяких планов был издан приказ об открытии в Яровом больницы на 25 коек. Эта крошечная больница начала действовать в 1947 году.

Сегодня многие молодые рабочие завода, видимо, даже отдаленно не смогут представить, в каких тяжелых условиях создавался поселок Яровое. Мужеству и выдержке первопроходцев славгородской химии можно лишь подивиться...

Да, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что из всех промышленных предприятий, созданных на Алтае во время войны, наибольшие испытания выпали на долю коллектива Славгородского химического завода. Всем было трудно. Но химикам Ярового — тройнее. Здесь самая незначительная трудность выростала в сложную проблему — от гвоздя до глотка пресной воды.

Жилось нелегко. Неудобств — житейских и производственных — море. Но только не надо думать, что люди той поры походили на великомучеников. Яровое жило своей сложной и прекрасной жизнью. И люди были счастливы, умели радоваться. Они радовались победам народа и своим успехам. Они любили, строили семьи, учили детей, благоустраивали быт. Ходили на танцы в самой нарядной своей одежде — спецовке из белой ткани «фильдебельтинг» и серого сукна.

В конце 1945 года в клубе была организована художественная самодеятельность. Ее первыми участниками стали Шура Железнякова, ныне Александра Михайловна Шустова — начальник отдела труда и зарплаты, Маша Зубенко, Галя Хлопушина, Дуся Турлюнова, Володя Дашковский. Перед первым своим концертом самодеятельные артисты, испытывая, так сказать, творческое волнение, не забывали, однако, о чисто прозаических вещах. Чтобы зрители не замерзли, артисты на саночках привезли уголь и натопили клуб. Концерт прошел успешно, доставил удовольствие и зрителям и артистам. А Глеб Сергеевич Верещагин, разволновавшись, даже произнес речь.

Полюбились яровчанам спектакли заводской самодеятельности. Декораций не было. Выручал Глеб Сергеевич — давал из своего кабинета

та мебель, шторы, дорожки. Эта «обстановка» в то время выглядела необыкновенно красивой. Артисты «заигрывали» директорскую мебель, ему приходилось проводить планерки и принимать людей в пустом кабинете. Верещагин сердился: «Когда принесете? Больше не дам!» Но на следующую постановку артисты снова тащили его мебель.

Директор вникал в работу клуба. И даже поругивал тех, кто нерегулярно ходил на репетиции. Укорял за это и начальника смены Сашу Фомичева. На него художественный руководитель Раиса Захаровна Груздева возлагала большие надежды.

— Только Саша оказался прав, — обескураженно признается теперь Раиса Захаровна. — Артист из него действительно почему-то не получился.

Зато, добавим мы, вышел отличный руководитель производства.

Ездили с концертами по окрестным селениям, а на вырученные деньги приобретали ткань для декораций и костюмов. А однажды костюмы по просьбе директора прислал заводу театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ликованию не было предела.

Руководители завода отчетливо сознавали, что люди, которых сблизил общие беды и радости, общий труд и одна судьба, которых закалила война, откликнутся на любой зов — и сделают невозможное возможным. Но они вправе рассчитывать и на лучшую жизнь. Сегодня рабочие мирятся с убожеством своего быта, а завтра им станет невыносим даже сам вид «копай-города». Чтобы химики на всю жизнь полюбили эту неласковую степь и это горькое озеро, чтобы не потянуло их в обжитые и благоустроенные места, надо создать необходимые удобства. Для начала хотя бы переселить людей из землянок и барачков в приличные жилища:

Проект строительства первой очереди поселка обсуждал весь коллектив. Рабочие знали, что он составляется, и много говорили об этом. Клуб едва вместил желающих. Всем хотелось из первых уст узнать о своем будущем. И когда Глеб Сергеевич Верещагин стал раскрывать перспективы строительства ближайших лет, многим это будущее показалось нереальным. Слишком уж фантастическими выглядели мечты по сравнению с буднями.

А ведь программа была чрезвычайно скромной. Кварталы индивидуальных — собственных и казенных — домов с приусадебными участками: под сады и огороды. Новая двухэтажная школа. Клуб. Детский комбинат — сад-ясли. Баня-прачечная. Больница. И кругом зелень. Директор показывал на чертеже ровные улицы, скверы, площади, парки — и люди улыбались: «Вот дает!»

Для выращивания деревьев и других растений будет создан большой питомник. Сад будет. Перед мысленным взором возникали карти-

ны семейного уюта и общего благополучия. Не хотелось думать о том, вполне конкретном жилье на берегу озера — из камыша и глины, в которое придется идти сразу после этих сладких разговоров.

Под конец директор сказал:

— Но для этого каждый должен стать строителем. Все придется поднять собственными плечами. Трудно будет, но иначе с места не сдвинешься.

И тогда полуфантастическая картина будущего стала более реальной. Конечно, если «плечами», если всем табором, если через лишения и трудности... Тогда, конечно, добьемся. К этому не привыкать: знакомо. Выдюжим!

Завод на озере Яровом с самого начала своего существования стал в ряд предприятий, которые не требуют дотаций и отсрочек. В первом послевоенном году он успешно справился с производственной программой, в 1947 году завершил ее досрочно, к 1 ноября, и по «валу» и по «товару». Предприятию было вручено переходящее Красное знамя Славгородского горкома ВКП(б) и горисполкома. Его занесли на городскую Доску почета. С тех пор завод, собственно, взял «на откуп» первое место в городе и одно из первых мест в крае.

Славгородцев не надо было учить азбуке соревнования. Они сразу пошли вглубь. В этом прямая заслуга Глеба Сергеевича и его верных соратников — ветеранов, таких, к примеру, как Александр Алексеевич Аленкин. Наделенные уже немалым житейским и производственным опытом, они с первых дней взяли верный курс: на развитие предприятия, на повышение технического и экономического кругозора людей.

Была поставлена задача, чтобы все командиры хорошо разбирались в экономике производства, отчетливо представляли, из чего складывается себестоимость продукции. Они должны были понять, что выполнить план «любой ценой» — не геройство, гораздо более тонкое искусство — выполнить его с минимальными затратами средств, сырья, материалов. Для этого и создан был экономический семинар. Заметьте: это было еще в сороковые годы, а как злободневны, как созвучны тогдашние заботы славгородских химиков проблемам нынешней хозяйственной реформы.

Плоды экономической работы уже вскоре дали о себе знать. В цехи и на участки пришел хозрасчет. Бригады и отдельные рабочие брали конкретные обязательства по экономии сырья и материалов. Каждый имел карточку личного вклада в фонд социалистических накоплений страны. Сверхплановая экономия пополняла заводскую казну, и директор мог использовать эти деньги для нужд благоустройства, культурно-

бытового строительства, материального поощрения передовиков производства.

Именно этот опыт укрепления хозрасчетных отношений во всех звеньях позволил коллективу позднее, уже в наши дни, во всеоружии встретить новую систему планирования и экономического стимулирования.

Среди химических предприятий края Славгородский завод занимает исключительное положение. Если, к примеру, на комбинате химического волокна и шинном химии имеет во многих случаях прикладное значение, то здесь она подлинная властительница. Здесь истинная химия. Здесь царство растворов, газов, элементов и молекул, которые в причудливом взаимодействии рожают новые вещества, обладающие свойствами удивительными и разнообразными. Озеро, как сокровищница из восточных сказок, щедро отдает свои богатства тем, кто владеет волшебным ключом...

Можно понимать сказанное буквально. Озеро обогащает людей не столько тем, что они извлекают из него продукты действительно очень ценные, но главным образом тем, что оно дает возможность людям, наделенным способностями, терпением и, как говорят, жадной поиска, в полной мере проявить свой талант, предоставляет неограниченные творческие возможности...

Можно выстроить дворцы и дать каждому по трехкомнатной квартире, но если человек чувствует неудовлетворенность работой — его потянет в другие места. Человек ищущий предпочтет вдохновение уюту, согласится на лишения, лишь бы найти дело по душе, найти самого себя, свое место.

У Глеба Сергеевича Берещагина в домашнем архиве хранился список рационализаторских предложений и изобретений, сделанных на заводе с момента его пуска, — своеобразная арифметика многочисленных творческих поисков коллектива.

По-разному рождаются усовершенствования и изобретения. Одни — в процессе повседневной работы, как логическое требование практики: вот тут что-то не ладится, надо переделать. Другие — в результате абстрактной заданной задачи, когда ум человеческий пытается найти иное направление, новое решение — по аналогии с другой областью знаний или совершенно без всякой аналогии.

В самом начале на заводе преобладала рационализация первого рода. И это понятно: отладка нового производства, упрощение технологии, первичная механизация, борьба с непроизводительными затратами...

Шли годы. Менялись задачи. По мере приближения к нашим дням все чаще появлялись слова: новая технология, реконструкция, новая

конструкция, способ получения новых продуктов — в том числе и таких, производство которых в промышленном масштабе впервые в стране освоено здесь, на Славгородском химическом заводе.

Судите сами: многие инженеры завода имеют по пять—шесть и более изобретений. Это значит, что технологические разработки стоят на уровне мировых стандартов. Уместно заметить: при таком уровне развития технической мысли на заводе разве появится у способного человека желание покинуть завод, если он действительно стремится к творческим исканиям?

На счету главного механика завода Сергея Юдина восемь авторских свидетельств. А ведь он еще учится на четвертом курсе политехнического института. Это он помогает химикам технически воплотить их задумки.

Можно бесконечно рассказывать о том, как были на заводе открыты многие вещества, которые находят применение в разнообразных отраслях народного хозяйства, придавая обычным материалам необычные свойства: прочность, термостойкость, влагонепроницаемость, эластичность.

Светом творчества и романтики пронизана атмосфера на Славгородском заводе. Эта атмосфера волнует, рождает состояние радости.

— Кто вы, — в шутку спросил я Сергея Юдина, — физики или лирики?

— Химики, — в тон ответил главный механик. Но добавил: — И лирики. Потому что в нашем деле без лирики, без романтики, в лучшем понимании этого слова, нельзя...

Нет, не провинция озеро Яровое. Вам расскажут здесь не только о последних достижениях химической индустрии, но и о последних спектаклях столичных театров, о новинках художественной литературы. Потому что тут живут интересные, жадные до всего нового люди, живут большой дружной семьей.

Трудно писать о Глебе Сергеевиче Верещагине. Хочется сказать многое, события и факты громоздятся, подталкивают друг друга. А когда рассеивается это звездное скопление фактов, остается лишь образ самого Верещагина: невысокий сухощавый человек, с седоватыми усами, с подкупающей стариковской улыбкой, с веселыми серыми глазами.

Мне приходилось встречаться с различными руководителями: властными и добродушными, требовательными и не очень. Но в чем-то они схожи, легко вписываются в рамки, если можно так выразиться, обобщенного директорского портрета. Верещагин не соответствовал этому воображаемому стандарту. От него исходила совершенно необычная,

по-домашнему уютная доброта, привлекающая людей и пожилых, и юных.

Он прослыл среди людей, знавших его, мечтателем, человеком своеобразным, с причудами. Но мечты его носили всегда конкретный характер, а «причуды» выказывали человека, которого равно интересуют и вопросы развития производства, и, скажем, создание заводского музея трудовой славы.

Однажды стояли мы с Глебом Сергеевичем на берегу озера. Глядя на огромную, почти до горизонта водную линзу, он мечтательно поглаживал усы:

— Вот воды, жаль, маловато...

— ???

— Да я не об этой воде, — отмахнулся он от озера. — Пруд бы построить, карпов развести... Рыбаков много, а рыбачить приходится ездить за сотню километров.

Чудак, не правда ли? Кругом солончаки, гиблая земля, а он про карпов... Но хорошо известно: если идея появилась у него в голове — будет у завода пруд.

— Настырный, — отзываются о нем рабочие. Старейший выпарщик Борис Феофанович Талда рассказывал, что Верещагин, еще когда строился завод, «заливал»: «Тут город будет, весь в садах». Мы над ним смеялись: чудак! Трава-то едва сквозь соль пробивается — чаклая, жесткая, как проволока. А он: сады! Думали: так, для поднятия духа человек мечтает. Грязь месили, а он: газ, ванны. Голодали, а Глебушка: рестораны будут, кафе. Помню, здорово мы удивились, когда Верещагин учредил должность заводского садовника. Смех один — для чего? Только вышло — напрасно не верили.

Настырный, упрямый. Хоть кого переупрямит. Даже самого себя. Даже болезнь персупрямил тогда, когда врачи мало верили в успех. Заметил как-то целадное с пальцем. Пришел к хирургу, показал:

— Режь, Елена Абрамовна.

Елена Абрамовна Гуль, старейший врач Ярового, видела всякое. Но такое — впервые. Она вопросительно посмотрела на Верещагина.

— Режьте, дружок. Это саркома, — спокойно повторил Глеб Сергеевич.

Исследовали. Разубеждать Верещагина не стали, но решили отправить к более квалифицированным специалистам. Однако от Верещагина трудно открутиться. Настоял. Палец отняли. Но коварная болезнь продолжала свое черное дело. И снова Верещагин у Елены Абрамовны. Однако эта волевая женщина и прекрасный врач тоже не из тех, кто может легко согнуться. Она знала свои возможности и пределы своих прав.

В Москве, в онкологической клинике, Верещагин удивил своим трезвым, холодным отношением к болезни и веселым нравом. Когда профессор в палате попытался уйти от прямых ответов, Верещагин попросил его «поговорить с глазу на глаз». В профессорском кабинете состоялся у него «мужской» разговор:

— Не тратьте слов понапрасну, профессор. Будем откровенны. Вы — врач, я — больной. Я знаю, чем болен, не возражайте... Без руки можно жить и работать. Отнимайте ее вместе с лопаткой. А пока дайте мне какую-нибудь работу. Скажем, помогать оформлять истории болезней. Работа, знаете ли, отвлекает.

Они договорились, двое мужчин. Правда, профессор попробовал сохранить плечо. Но позднее операцию пришлось повторить. Повторить в третий раз. Руку отняли так, как сразу советовал хирургу больной.

И он выкарабкался, Верещагин, перехитрил, задушил болезнь. Чуть «отошел» — и снова в директорской упряжке, осунувшийся, но по-прежнему задорный, насмешливый, с веселой искоркой в глазах. Такой, каким его всегда привыкли видеть друзья. После операции он радостно жил и плодотворно работал еще десять лет. И жил бы до ста...

Живучий, упорный, настойчивый.

«Будет наш завод весь в садах», — говорил он. И завод стал таким.

Мне все не терпится рассказать о том, что собою представляет поселок химиков сегодня. Потому что он прекрасен и обещает стать еще лучше. Когда был утолен первый голод в жилье, началось сооружение современного городка. Сейчас красивые многоэтажные дома растут целыми комплексами. В них все удобства: централизованный газ, ванны, канализация. Улицы ровные, асфальтированные, поселок утопает в зелени. Озеленение новых жилых кварталов считается обязательным, без этого дом не примут.

Особая забота у завода — о детях. В поселке два дошкольных детских комбината. Строится третий, скоро все дети химиков будут устроены в садах и яслях. Открыта новая библиотека с читальными залами, с детским отделом. В одном из новых домов первый этаж отведен под детскую техническую станцию.

Я был свидетелем телефонного разговора директора с одним из начальников цехов. Тот упирался, не хотел отпускать квалифицированного рабочего, умеющего плотничать, на строительство столовой в пионерском лагере. Обычная история. Глеб Сергеевич в весьма решительных тонах убеждал своего собеседника.

— Для ваших же детей, — напоследок, уже посмеиваясь, добавил директор. — Мне-то уже ни к чему...

В поселке отличный стадион со всеми спортивными сооружениями

(хоккеисты досадают: во всей округе нет другой хоккейной команды, не с кем состязаться). На очереди — плавательный бассейн. В поселке свое ателье мод. Универмаг. Ресторан, кафе, столовые и закусочные. Бытовой комбинат. Мебельный магазин. И это, как здесь говорят, лишь начало. Завод будет развиваться, будет расти и хорошееть и городок химиков. Его украсят новые здания — Дом техники и больница, школа и крытый плавательный бассейн, комбинат бытового обслуживания. И торговый центр — с универмагом, гастрономом, кафе.

А по вечерам над зоной отдыха, на берегу озера, выпыхнут ртутные светильники, и мягкий свет разольется вокруг, и вы увидите монумент воину-победителю, и пышные кроны деревьев, и цветы.

Уже и сейчас городок химиков, что называется, утопает в зелени. Дома буквально теряются в ней. По вечерам заливаются в садах невесть откуда прилетевшие соловьи. А зайдешь в гости — на стол поставят вишни и яблоки, малину и крыжовник, и смородину всех расцветок, не говоря уже о всякой огородной зелени. Все свое, яровское.

— Я считаю, — упорно повторял Верещагин, — что не меньше тридцати процентов территории современного предприятия должно быть озеленено.

И когда начальники цехов хотели сделать директору приятное, вели его на территорию, окружающую их корпуса, показывали участки, вновь засаженные растениями. А сам директор — такой уж он чудак! — нередко лично принимал участие в краевых выставках плодоводства. Признанный селекционер!

Много забот у директора. Но он не жаловался.

— Сейчас легче, — говорил он. — Большая партийная организация, профсоюз, разные службы. А в первые годы в каждую мелочь приходилось самому лезть. Люди шли со всякими «болячками» — личными и производственными. Там семейная ссора, там неурядица. Как худой поп: сам кадил, сам кадило подавал, — смеялся он.

Пословицы он любил. Да что любил! Берет в августе отпуск, ставит в садике под раскидистыми яблонями стол и целыми днями что-то пишет, раскладывает, как пасьянс, карточки, составляет каталоги, рассылает по разным адресам загадочные письма... Заглянешь в карточки — и не поверишь своим глазам. На каждой из них пословица или поговорка. Да, обыкновенный фольклор! Одна, другая, десятки, сотни, тысячи пословиц и поговорок! Около двадцати пяти тысяч собралось их в коллекции Глеба Сергеевича.

Но не только пословицы занимали досуг директора. В его тесно заставленном книгами кабинете можно было обнаружить много неожиданных вещей, начиная от чрезвычайно редких книг, которые рассеяны среди многих тысяч томов его библиотеки, и кончая коллекцией фото-

графий, запечатлевших всю историю Славгородского химического завода.

Участие директора в общественной и партийной жизни можно проследить по хранящимся в его архиве партийным и депутатским мандатам. Вот невзрачные, серенькие, на простой бумаге документы военных лет, потом, по мере улучшения экономики страны, и бумага делается лучше. Вот уже тонкий, лощеный картон... Глеб Сергеевич был делегатом первой городской Славгородской партийной конференции в 1947 году, когда был создан горком КПСС (до этого существовал Славгородский райком). А в 1948 году Верещагина избирают председателем первой сессии городского Совета депутатов трудящихся... Темно-вишневый мандат делегата XXII съезда КПСС.

На шестой Алтайской краевой партийной конференции Верещагина выступил с предложением включить в проект пятилетнего плана создание межрайонных прокатных станций строительных машин для обслуживания мелких строительных организаций. И еще: провести подготовительные работы и начать строительство ирригационных систем орошения и обводнения Кулундинской степи. Вопросы, казалось бы, далекие от повседневных забот директора, так же, как и собирательство фольклора. Но так могло показаться лишь для тех, кто не знал Верещагина. Мир его интересов — личных и государственных — чрезвычайно широк. За выполнение заданий правительства он был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. Обратите внимание: один из орденов Красного Знамени был вручен за освоение целинных и залежных земель. Не всякий директор промышленного предприятия имеет такую награду за успехи в сельском хозяйстве. Но если вы учтете, что химики тогда построили в колхозах и совхозах Славгородского района десятки механизированных токов, снабдили электроэнергией прилегающие села, фермы и полевые станы, выделили для работы на полях транспорт и сами трудились там в жаркие дни страды — и все без ущерба своему производству! — весомым окажется вклад завода в освоение Кулундинской целины.

Кое-кто, конечно, мог отнести к причудам директора и его почти болезненную нетерпимость к грязи, захламленности, пыли в цехах. Он мог вынуть белый платок и провести по поверхности прибора. Если платок загрязнится, не миновать начальнику цеха нагоняя.

Он мог на планерке неожиданно достать из кармана краевую газету и прочитать собравшимся передовую статью об использовании производственных мощностей. Всю, от первого абзаца до последнего, хотя в статье лишь одной строкой упоминается о Славгородском химическом заводе. И требовательно спрашивал: что ответим мы на выступ-

ление газеты? Причуды? Побольше бы таких «причуд» руководителям предприятий!

...Каждое утро — в обход по заводу. Идет, посматривает, разговаривает с людьми. Там замечание сделает, там посоветуется. Вахтеры охраны браво, по-военному отдают честь, как боевому генералу.

— Это все бывшие производственники, — объяснял он мне. — Теперь они на сторожевом посту, а я вроде разводящего у них...

Он и в самом деле был похож на бывалого воина. Подтянутая фигура, тронутое морщинами лицо, пустой левый рукав...

Внешнее впечатление не обманывало. Потому что долгое время Верещагин был кадровым военным. Уже после гражданской войны, в 1922 году, его в числе пятидесяти комсомольцев-добровольцев из Минусинска направили учиться в Школу Красных командиров имени ВЦИК. Затем — Кронштадтские курсы командного состава РККА и служба: во Владивостоке, в Бурятии — на монгольской границе. Был чекистом, воевал с кулаками, бандами — до тех пор, пока врачи не вернули к гражданской жизни. С тех пор началась химия. С 1938 года.

...Как-то я был свидетелем, когда Глеб Сергеевич задержался у верстака, за которым орудовал слесарь по точным механизмам Спартак Дюндиков. Его заинтересовал миниатюрный токарный станочек на столе рабочего.

— Откуда такой малютка?

— Сам сделал, — смущенно ответил мастер.

— А вот фрезерный. Тоже его изделие, — начальник цеха Павел Конев показал еще на один крохотный механизм. — Такого за тысячу нигде не купишь.

Подивился директор и тут же к начальнику:

— Золотые руки у вашего Дюндикова. А как вы его поощрили?

Тут пришла очередь смутиться начальнику:

— Да как-то не догадались...

— Таких людей ценить надо. От лодыря отнять, а достойного награждать.

Вроде, мелочь. Но посмотрите, как логичен, как последователен переход у Верещагина от этой, так сказать, единичной, конкретной чуткости к проявлению заботы о человеке в большом, государственном масштабе.

Чуть вдали от заводских строений, на огромном пустыре, разместились грандиозный комплекс очистных сооружений, построенных по последнему слову техники. Известно, что на их строительство обычно руководители промышленных предприятий идут неохотно: слишком это дорого обходится, хлопот не оберешься. И нередко они предпочитают

спускать промышленные воды в водоемы, загрязняют их, отравляют рыбу и растительность. А здесь -- мертвое озеро, по берегам которого нет ни селений, ни других предприятий. Директора завода не упрекнули бы, если бы он повременил делать дорогие очистные сооружения. Но Верещагин сознательно записал их в ряд первоочередных объектов. Потому что сам еще раньше задумался над созданием зоны отдыха для химиков на берегу озера Большое Яровое.

...Неравнодушен был директор к деревообрабатывающему цеху. Если в других цехах он, что называется, работал, то здесь отдыхал, дышал полной грудью. Запах свежеструганного дерева, запах сосновых опилок отсылал воспоминания к далеким детским годам, к минусинской тайге. Лесные запахи, любовь ко всему зеленому и цветущему вошли в жизнь Глеба Верещагина естественно, как страсть к искусству входит в жизнь детей артистов и художников, — его отец был лесничим. Мать умерла рано, Глебу не было и пяти лет. Сызмальства испытал горечь батрацкого хлеба. Трудовая жизнь началась в четырнадцать лет. Приставили мальчонку к лошадям. Они крутили огромную мясорубку в колбасной мастерской. Глеб был погонщиком лошадей, а вечерами прислуживал в хозяйском ресторане. Тычок, грязное слово, оскорбительный смех...

В 1919 году, когда гражданская война докатилась до Минусинской тайги, Глеб ушел к партизанам. Белые не обращали внимания на неказистого мальчонку, который шнырял по их позициям, не догадывались, что цепкая память юного мстителя схватывает все: расположение застав и артиллерии, количество огневых точек, не опасались, что чуткие уши его услышат из случайных разговоров офицеров о их планах. Зато красные знали цену своему бесстрашному помощнику. Партизанские командиры Щетинкин и Кравченко доверяли ему, совершая дерзкие нападения на белые засады, указанные разведчиком. А в открытый бой Глеб шел рядом со взрослыми.

В начале двадцатого года он уже служит в регулярных частях Красной Армии. Работая в госпитале санитаром, Глеб заразился тифом, едва выкарабкался... О детстве, о боевой юности напоминали Глебу Сергеевичу запахи деревообрабатывающего цеха...

Угадать в цель, предвидеть конъюнктуру спроса, предсказать нужное направление производства — без этого в современных условиях нельзя. Видеть на много лет вперед — в этом настоящее искусство руководителя.

Рассказывают, какой бой пришлось в свое время выдержать Верещагину по поводу строительства новой центральной лаборатории.

— Смешно, — говорили ему некоторые специалисты, — всего три производства, а вы такую лабораторию...

Конечно, известный риск был. Ведь лаборатория — это не только помещение и приборы, пусть даже очень совершенные. Это прежде всего люди. Без них оборудование мертво. Огромные капиталовложения могли зависнуть балластом на шее предприятия.

— Авантюризм, — говорили об этом проекте за глаза.

Но Верещагин пошел на риск. Он верил в людей. А в лаборатории видел отправную точку для роста предприятия. И время доказало его правоту. Полтора миллиона рублей было затрачено на сооружение и оснащение лаборатории, а она уже дала реальную отдачу в восемь миллионов рублей и числится среди лучших лабораторий химических предприятий страны.

«Новые производства»... В этом тоже есть изрядная доля риска. Далеко не везде с удовольствием идут на их создание. Но директор поощрял подобный «авантюризм», который обещает выгоду предприятию и государству. Именно здесь проверяется инженерная зрелость коллектива. Многие виды продукции завода соответствуют по качеству уровню мировых стандартов. Новые вещества преодолевают путь от пробирки до потока в три, четыре раза быстрее, чем это порой бывает в научно-исследовательских институтах. Нет, не провинция озеро Яровое!

Как-то я задал Глебу Сергеевичу в меру ординарный вопрос:

— Какое событие в своей жизни вы считаете наиболее значительным?

И этот вопрос неожиданно взволновал его. Он ответил не сразу.

— В гражданскую я совсем молодым парнишкой партизанил в мунусинской тайге, а позднее комсомол направил меня в Школу Красных командиров имени ВЦИК. И вот однажды во время дежурства в Кремле я встретил Ильича. Всего несколько минут видел я его, а эти минуты запомнились мне на всю жизнь.

Случилось это в середине апреля 1922 года. Посланцы Сибири стояли возле Царь-колокола. В Кремле только что закончился XI съезд партии, который подвел итоги первого года нэпа, подтвердил, что в экономической политике партия стоит на правильном пути, указанном Лениным. Владимиру Ильичу в том месяце исполнилось пятьдесят два года. И вдруг сибиряки увидели его. Ленин шел в группе военных и штатских, участников съезда. Он был в черном пальто, в кепке, невысокий, коренастый. Шел не спеша и что-то горячо доказывал спутникам. Глеб Сергеевич и его товарищи в необычайном волнении всматривались в Ильича, всматривались, чтобы запомнить его черты, его образ навсегда, на всю жизнь, чтобы потом рассказать о своей встрече с вождем. Да, всего несколько минут длилась эта встреча. Но она осветила весь дальнейший путь Глеба Верещагина, стала самым ярким событием

его жизни. В ленинский призыв он вступил в Коммунистическую партию и сорок пять лет служил ленинским идеям, как верный солдат партии.

1 июня 1969 года славгородские химики отмечали 25-летие своего предприятия. В этот день они отдавали дань уважения тем, кто поднял завод и поставил его ныне в ряд лучших предприятий химической индустрии, — ветеранам труда. И среди них в первую очередь — Глебу Сергеевичу Верещагину, основателю и бесспорному директору завода, человеку, бесконечно преданному делу Коммунистической партии.

Немного не дожидаясь до четвертьвекового юбилея своего детища. Нелепый, трагический случай оборвал жизнь Глеба Сергеевича. Но славгородские химики, отмечая свой праздник, не говорили о Верещагине «был». Он остался рядом с ними.

Имя Г. С. Верещагина носит улица, на которой он жил. Его имя решением правительства увековечено в названии завода. Это имя живет в делах и в памяти людей, с которыми Глеб Сергеевич Верещагин работал рука об руку до последнего часа.

...Говорят, озеро Яровое — капля, оставшаяся от древнего моря и впитавшая в себя многие минеральные сокровища мирового океана. Завод, громадой корпусов распластавшийся на берегу озера, использует эти богатства для блага советских людей. Завод имени Глеба Сергеевича Верещагина.

Озеро лежит у ног завода, свинцово поблескивая. Оно глядит в небо безжизненным глазом, как смотрело сотни и, может быть, тысячи лет назад. Но берега его молодеют, расцветают. Поздним вечером загораются огни в поселке. Их видно издали, эти похожие на звезды огни. Кажется, что они висят над озером, приподнятые руками человека...

ДЛИННЫЕ НОЧИ

ОЧЕРК

Раньше ночи были короткими. Кажется, не успела веки смежить, как вздрагивает на комоде будильник. Сколько она переломала их сгоряча! Протянет руку, чтобы кнопку нажать, а он увернется из-под ладони и бах об пол.

А теперь вот сама исправней будильника. В два? Пожалуйста, она разбудит в два. В три? В пять?..

Господи, какие длинные ночи у пенсионеров! Лежишь, лежишь, всех апостолов соберешь, лихом окатишь, а в окно темень непроглядная лезет. Слыхала, кому-то против окна уличный фонарь врыли — спать не дает. А тут впору в исполком иди, проси себе под окошко столб с лампочкой поставить. Все веселей в потолок глядеть. По утрам люди добрые на работу торопятся, а ты лежи, смотри кино: радужные разводы по потолку от пупырышков, что на стеклах. Фу! Срам какой! В пятьдесят лет — как потертый скат — на место запасного колеса...

Мария садится у кухонного стола, замечает на подоконнике за шторкой пустую бутылку. И подоконник, и шторка, собранная в складки, как гофрированная юбка, и бутылка вызывают у нее раздражение. Особенно бутылка, купленная по поводу ее ухода на пенсию. Нашли чему радоваться, что праздновать!

За окошком синее утро. Горкомхозовский ЗИС, приземистый и покорный, как дряхлый дворовый пес, медленно ползет от одной кучки заскорузлой листвы к другой. Двое рабочих, мужчина и женщина, широкими лопатами подбирают кучки и бросают в кузов.

Марии жалко листья. Двинуть бы по окну, чтоб с рамой вон: «Перестаньте!» Да разве поймут? Она и себе объяснить не сумеет, отчего ей жалко эти облетевшие листья.

Вчера она целый день бродила из одного автохозяйства в другое, упрашивала позволить подержаться за руль, разрешить «сделать кружок» по территории. Ее шумно приветствовали, расспрашивали о здоровье, сочувствовали и между шутками и воспоминаниями отказывали, отсылали домой отдыхать.

Она ни на кого не обижалась. Невралгия рук, сужение межпозвоночной щели и всякое такое, чего и не выговоришь без специального образования, начисто закрыли ей дорогу на транспорт. Она и сама понимала это. Прекрасно понимала. И все-таки была необыкновенная легкость на душе, когда она обманывала себя, просила машину «на одну тютельку».

Ей нравилось ходить по гаражам, заглядывать под открытые капоты, трунить над молодыми шоферами, нравилось подсказывать. Без этого ее новое положение казалось ей безнадежно пресным и лишенным всякого смысла. Больше тридцати лет она заезжала домой, чтоб обстираться, погостить у матери день-другой, и снова бесконечная шоферская дорога была ее и уделом и домом.

Дряхлый горкомхозовский ЗИС выплевывает черное колечко дыма и натруженно ползет к следующей кучке. За ним, опираясь на лопаты, как на посохи, идут рабочие.

«Совсем как на Аржанте, — вдруг ни с того, ни с сего вспоминает Мария. — Так же вот брел помощник. Только в руках не лопата, а колодка».

Это чтобы, если не возьмешь подъем, не покатиться вниз. Ох, и времечко было! Что знает нынешний шофер? Да ничего. Вся забота — на футбол успеть вернуться. А тогда, в тридцатом, чего уж там смелого из себя корчить! Думал шофер — вернется ли вообще. Уж больно часто не возвращались. Если бы вдоль Чуйского тракта памятники шоферам поставить, забор бы получился. И теперь еще случается. А тогда, в тридцатом...

Слушай, форд мой железный, выносливый,
Много миль мы с тобой пробрели.
Камни, бомы, откосы крутые
Удержать нас с тобой не могли.
Аржанты повороты крутые,
На второй ты без звука мог брать.
А теперь в эту зиму суровую
На Курайской пришлось помирать...

Песни-то, песни! Одна тоска голимая. Соберется вечером братва на Ине и затянет унылую. Сердце стоном исходит, кровь шариками скатывается:

Ах ты, степь Курай, злая, милал,
Для шоферов ты препостылая...

А ведь нет в песне ни одного слова выдуманного. Далеко Марии за примером не ходить — в Курайской степи окружили ее волки. Сверху снег, по камням поземки, темень стучит в кабину, а тут, как назло, мотор заглох и не заводится от стартера...

Теперь уж и не упомнишь всего, что промелькнуло перед глазами, как верстовой столб. Считай, вся история Чуйского тракта, с тех пор, как пошли по нему машины. С тридцатого года. Да она и сама немножко история. Первая женщина-шофер на тракте, что петляет через Алтайские горы от Бийска до Монголии. Но она и такое рассказать может, чего ни в одной книге не найдешь, а записывать станешь, наберется на целый том в тысячу страниц самых наифантастических приключений. А между тем разве чуть-чуть украсит.

Если бы в силах человека было противиться болезням, времени! Если бы снова молодость! Мария, не колеблясь, начала бы завтрашний день с того, что пришла бы в контору «Автовнештранса» и сказала бы: «Берите шофером... Разве юбка причина для отказа?..» Так она говорила в тридцатом. И было ей восемнадцать. С небольшим. Челка на лоб, косички в стороны.

Что ты, время, делаешь с людьми! Вместе с опытом, когда работать и радоваться бы, старость, ветхость приходит. Справедливо ли? Честно?

Утро за окном синь разогнало. Ожила улица плотной толпой пешеходов.

Мария неторопливо идет в комнату, неторопливо занимается уборкой. Ей некуда спешить. Ей теперь надо к новому образу жизни приспособливаться. Вразвалочку. Срам-то какой, господи!

— Можна-а?

Мария распрямилась. На пороге улыбающийся во весь рот гость: шапка на макушке, пальто нараспашку, будто прежде чем войти, бежал он очертя голову.

— Здравствуй, Мария Михайловна. Не прогонишь знакомого с дороги?

— Михай Арасович! Непугал. Проходи. Садись. Вот здесь. Нет, вот здесь... Я тут развела уборку. Сейчас, мигом.

— Эх, Мария Михайловна... Ты делай, делай, я посмотрю... Видал, как баранку

крутишь, видал, как... это... мотор. Цык! Первый раз вижу, как пол метешь. Ай-яй-яй, что болезнь с людьми делает! Была такая общительная женщина. Теперь стала хоззяйкой, пол метешь. Кому польза? Себе польза? Козюлю польза?

— Ты, Михай Арасович, сердце не царапай. — Мария не поставила, выронила в угол венник. — Знаешь, без твоих стонов хоть в петлю лезь.

— Зачем в петлю? — огорчился гость, в знак протеста головой замотал влево-вправо. — Зачем в петлю лезть? Я тебе такое ярмо привез, всего не нарадуешься.

Его широкое лицо снова расплылось в обнадеживающей улыбке.

— Чай будет?

— Может, водку?

— Нельзя. Другой раз.

— Чего заскромничал? Хотя, конечно, твое дело. Чай так чай.

Она накрыла на стол: сахар, варенье, хлеб, масло. Села сама напротив, подперла голову кулаком.

— Скучаешь по горам? — спросил гость.

— Еще как!

— Приезжай летом — на борозду!

— Куда теперь мне!

— А-а, Мария Михайловна! Зачем на себя тень гонишь? Приезжай. Дам машину, катайся, пока душа не успокоится.

— Живот под руль не протисну, — усмехнулась она, развела руками, показывая, как ее... — Клянчу, хожу, а ведь сама ни вот столько не верю, что смогу. Знаешь, даже робость появляется перед машиной.

— Зря говоришь! И кому ты говоришь? Это мне-то? Что подумают в Козюле? Ты у нас первая женщина.

Мария принесла чайник. Он посвистывал, как недержащий ниппель. Разлила кипятком по чашкам, добавила заварки.

— Пей, Михай Арасович. На дворе, поди, студено? Я еще не выходила из дома.

— Ай-яй-яй! А я-то...

— Чего ты-то? Говори прямо, не вертись...

Большие отары у колхоза имени XXI съезда. Такие большие, что, наверное, соколинным оком не окинешь их с конца в конец. А еще есть дойное стадо, сарлыки и лошадей табун. В горах нельзя без лошадей. И долго будет еще нельзя.

Главным над всеми отарами, табунами, гуртами — Михай Арасович Кыдрашев. Он — председатель колхоза, и у него голова болит, как прокормить такую ораву, да чтобы она и вес нагуляла, колхозу прибыль дала.

За 360 километров от железной дороги в горы забрался колхоз. Дорога, слава дорожникам, хорошая, Чуйский тракт. Только и по нему шибко не разгонишься. Два перевала, бомы. На горячем разоришь колхоз, по ветру пустишь, если за каждым пустяком машину в Бийск гнать...

— Объяснить? Или так поняла?

— Объясняй, Михай Арасович. Не доходит.

— Соль чужна. Много соли. Для скота. Все есть. Деньги есть, машина есть. Соли на базе нет. Третий раз едем, и назад ни с чем. Еще раз надо ехать. А может, два? А может, четыре?

Он вскочил со стула, прошелся в дальний угол, остановился, резко повернулся к Марии, оперся костяшками пальцев о крышку стола. Как на заседании правления. Будто ветром смахнуло проказливость с лица, и Мария увидела на нем морщины, много-много морщин, и подумала, что не такой уж он молодой. И его не пощадило время.

— Козюлю надо помочь, Мария Михайловна. Очень помочь. Всего лишь дать телеграмму.

Почему она согласилась? Убей ее сейчас на месте, не вспомнит. Пожалуй, просто не могла обидеть Кыдрашева. Был он старым другом ее семьи, гостеприимным хозяином, умел угостить, когда наезжали к нему, лучший угол в доме отводил.

А уж если случалась свадьба или праздник какой в колхозе — вел туда, сам окружал вниманием. Он и теперь, когда уже осела Мария с мужем в Бийске, всякий раз приглашал на праздники, сердился, если они начинали отказываться...

Назавтра она была на базе «Сельхозтехники».

— Соль? Есть соли!

Мария чертыхнулась про себя; приехал бы Кыдрашев на день позже, не месила бы она осклизлые комья грязи. По ночам уже всю поджимали заморозки, черная мешанка земли превращалась в барашковую от инея гигантскую губку или пемзу, а днем под солнцем и сотнями ног иней превращался в воду, которая, как автол, смазывала неровную поверхность двора и подъезда к нему.

— Значит, есть?

— Есть. А вы, простите, откуда? Вроде, знакомое лицо.

— Наверяд ли. Из Козюля я. — Мария протянула бумажку, оставленную Кыдрашевым.

— Подгоняйте машины.

Вот те раз! Этого только ей и не доставало!

— Где я их возьму? Давайте централизованным.

— Гражданка, если вы шутки шутить сюда пришли, так мне некогда.

— Я серьезно...

— Разве я непонятно говорю?

— Серьезно же!

Она начинала злиться. И на «Сельхозтехнику», и на колхоз, и на свое глупое положение. Проще было дать телеграмму, и Михай Арасович незамедлительно будет здесь со всей своей техникой. Но по мере того, как сердился заведующий складом, она становилась упрямой, как сарлык, и уже твердо решила никакой телеграммы не посылать, а сделать Кыдрашеву приятный сюрприз. Сам говорил, что деньги есть.

Сначала она обзвонила все городские автобазы. Ей сказали, что сегодня уже поздно, что все машины в разъездах. Она взывала к совести, старой дружбе, но никто не мог помочь ей. Она готова была обвинить всех начальников в измене, когда ей, наконец, подсказали адрес. Автобаза лесозаготовительной конторы. Возможно, там что-то есть. Возможно...

Мария позвонила туда. И, конечно, «нарвалась» на знакомого начальника эксплуатации.

— Вася, выручай. Позарез нужна машина. Тут пятьдесят тонн соли...

— Что-о? — ахнул Вася. — Какую ж тебе, Мария Михайловна, машину надо? Пульман?

— Все, что есть, давай. Как на пожар. Счет выставишь на инкассо...

А ночью ломило похотицу и, что пугало больше всего, не было силы пошевелить рукой: переволновалась.

«Точка! — перевозомая боль и страх, рассуждала про себя Мария. — Сколько можно надрываться! Вся работу не переделаешь, всем мил не будешь».

В полдень принесли телеграмму от Кыдрашева. Не пожалел председатель денег на слова благодарности, столько написал, что Марии даже неловко стало.

«Какая ты все-таки киселистая! Баба и есть баба! Расхныкалась, раскудахталась вокруг пустыка. И всегда ты была такой! И удивительно, как ты вообще дожила до пятидесяти, потому что не было того дня, чтоб не тряслась, не боялась ты чего-то».

Правда, не всякий такое сказать осмелится о ней. Это она — сама о себе. Большинство друзей, а друзей у нее больше, чем у иного генерала солдат, считают

ее бесстрашной. Наверное, из-за ее резких движений, решительных суждений, некоторой лихости языка. А вообще то она самый распространенный вид зайца в юбке.

Да, храбростью она никогда особо не отличалась. Но вот жизнь ее состоит наполовину из рискованных рейсов по тракту, который то взвоет в самые облака, то притулится на пятидесятиметровой высоте к отвесной скале и делает повороты на девяносто градусов... И суди о ней как хочешь после этого!

А руль, как девичья душонка прихотливая,
Изгиба тесного по правилу не взял.
И АМО, вздыбаясь, как нечаянно ужаленный,
Стрелой в потоке бешеном пропал...

Было время... Нынче играючи, с прицепами идут. Средняя скорость — восемьдесят. Отдельные лихачи за день все 620 километров проходят и назавтра к полдню в Бийск возвращаются. Техника не та, дорога не та. Ипподром, а не дорога. Правда, местами холонит сердце, но скоро не останется и этих мест. Ухают в скалах взрывы, круглые сутки бульдозеры рыкают. И, наверно, станет нечего вспоминать после рейсов. Ну, да это не большая беда. Лучше пусть нечего вспоминать будет, чем такое...

Как его звали? Она помнит, что у него были нежно-желтые и блестящие, чуть-чуть кудрявые волосы.

Ей запомнились волосы. Может быть, потому, что она и сейчас еще видит, как наяву, желтые, блестящие, короткие прядки, словно лепестки цветка. И на лепестках — кровь... Лицо синее, припухшее, а волосы желтые, как бутон, вылепленный из сливочного масла.

Угораздило парня на ходу на груз глянуть, не слетел ли брезент. И самую малость потянул незаметно руль... Машина сунулась под козырек скалы... Удар пришелся в голову...

А час спустя в обмытой кабине несчастливой машины сидела, ни жива, ни мертва, Мария. Как-то так получилось, что никого другого не оказалось, а груз был срочным, кажется, лекарства или семена.

Что она пережила за этот рейс, одной ей известно да АМО, потому что только он мог уловить дрожь ее рук. Она старалась смотреть в одну точку перед собой. Ей предстояло проехать то роковое место, откуда час назад притащили машину... Слева внизу отливала изумрудом Чуя, справа угрюмой каменной стеной поднималась в самое небо скала. Мария прижимала АМО к кромке над рекой. Она боялась даже случайно глянуть на козырек, который выскочил из-за поворота и, как туча, бежал навстречу. Пять, три, два метра...

Тогда, по окончании рейса, она тоже думала: «Баста, хватит, навоевалась. Никто не осудит, работы и в городе довольно». Она не только думала, но была уверена, что раз и навсегда решила уйти с тракта. И не ушла, хотя баба — она всегда баба, и мерещится ей со страху черт-те что. Вот и опять, спину ломит, руки отнимаются, и она уже в аут собралась. Будто в первый раз такое!

Мария одевается, медленно спускается по лесенке, идет на почту, составляет ответную телеграмму: «Сообщите, что надо, адрес старый».

Еще несколько раз наезжал Кыдрашев. И после каждого его наезда Мария ходила на базу, на станцию, «караулила», когда будет нужный цемент, комбикорма и когда они появлялись, бегала по автобазам, «выколачивала» машины под честное слово и отправляла грузы в Козюль.

Она уже не роптала на свою судьбу, забыла думать о том, чтобы хоть «тютельку» посидеть за рулем. Если теперь и шла в автохозяйство, то не с личной просьбой.

Неожиданно ей стала нравиться новая должность. Она видела себя при деле. И хотя Кыдрашев весь расчет с нею производил благодарственными телеграммами, работала, как редко кто работал за оклад. Даже когда ушел вскоре с председателей

Кыдрашев и стал на его место в прошлом мало знакомый Василий Дайсович Папитов, она осталась верной далекому, чужому для нее колхозу.

Однажды, это было незадолго до Нового года, наведался к ней в гости Папитов. С ним был незнакомый человек, такой же смуглый, как и он, с застенчивыми глазами. В отличие от Папитова, который заезжал уже к ней, этот незнакомец был молчалив и сдержан. Переступив порог, он долго топтался на месте, наблюдая, не оставляют ли следов сапоги. Убедившись, что сапоги сухи, сказал коротко и тихо:

— Здравствуйте.

— Пусти ночевать, Мари Микалевна, — попросил Папитов. — Угощай чаем.

— Валий, раздевайтесь. Сейчас муж придет, будем ужинать.

— Спасибо, Мари Микалевна.

Гости разделись, повесили на вешалку у двери пальто. Василий Дайсович пошарил по карманам, извлек бутылку.

— Ты, извини, Мари Микалевна. Мы с твоим мужем только-только знакомы. Надо закрепить.

— Крепи, — махнула рукой Мария. — Только сначала с другом своим познакомь.

Человек с застенчивым взглядом протянул руку.

— Чур Куклевич Агин. Председатель колхоза имени Двадцать второго съезда.

— По делам к нам или в гости?

— По делам, по делам, — оживился, будто обрадовался случаю, Агин. — Столько дел! Ух, сколько...

Уже поздно вечером, после выпитого-съеденного, сказанного-пересказанного, когда уже белела простыней постель, разостланная для гостей, когда Папитов и Мариин муж, закрепив знакомство, уединились и толковали о чем-то, известном только им, подсел к Марии Чур Куклевич.

— Слышал, Мария Михайловна, помогаешь хорошо Козюлю. Столько слышал, сколько ни о чем не слышал. Не окажешь ли честь Яконуру?

— Ясно теперь, чего робкий такой... Боюсь, сил не хватит, Чур Куклевич.

— У тебя-то?! Весь Горный Алтай знает, сколько сил у тебя. Женщина, которая Иню пережила, может Красную гору подвинуть!

— Скажешь тоже...

...Ее взяли шофером. «Союзтранс» получил сто сорок новых машин, а водителей на них выписал из Новосибирска, Свердловска, Москвы. Не много было в Бийске шоферов в тридцатом. Вот почему сделали Марии снисхождение.

В ту пору не ездили прямо до границы. Очень уж утомителен был путь. И появилась на берегу Катунь Ининская перевалочная база. Из Бийска грузы до Ини, с Ини до границы на других машинах.

Как в наказание за настырность, командировали Марию на Иню. Сорок мужиков в палатке общей. И она — восемнадцать с небольшим, рослая, крепкая. Мужики понахалистей — лапы на обхват: не сердись, сама знала, куда ехала. Отбилась. Знала, куда ехала, — на бок тесек повесила.

Ночевала между своими, бийскими. Парни лихие, но без дури. Похоже, нравились ее защищать.

Вокруг Ини горы, камни, пустошь дикая. Ночи рано начинаются. Едва солнце за вершины упадет, тени черные расстилаются. Сиди, смотри на эти тени и волком вой. Никакой цивилизации, холодные горы, угрюмая братва.

Прохладными вечерами тянется в небо жиденький язычок костра. Нет на Ине цивилизации, недостаточно кислорода. И всего-то недостаточно на Ине. Где-то там, в Бийске, Барнауле, Новосибирске, Москве, бродят по улицам девчонки, скучают. Много девчонок в Бийске, Барнауле, Москве. Есть такие, что тоскуют по любви в одиночестве. А на Ине парни вспоминают девчонок, и мучит их раскаяние, угрызения совести: врал

ведь, мозги полоскал байками, смеялся. А приди сейчас какая-нибудь осмеянная тобой — царицей сделаешь, ковром ляжешь под ноги. Издалека лучше видно бывает, и чудится парням, как мужает их разум.

А назавтра весть неприятная. Стервенеют парни, места не находят:

— Проня, Пронька, черт!

— Где Королев?

— Про-онька!.. Пронька, бери гармозу. Играй музыку нашу... Мы слова подбирать будем!.. Все по-правдашнему... Чин-чинарем... Чтоб не плакалось ему... там...

Напоследок сказал он три слова:

«Гибнет жизнь молодая моя.

Пусть не плачет жена дорогая,

Поскорее забудет меня».

— Какая жена?

— Была бы жена. Такой парень!

Не перенес один новосибирец Иню. Подхватился среди ночи и...

А она перенесла. Ей трудней было, а перенесла...

— Так по рукам, Мария Михайловна?

— Ладно уж. А то обидишься...

— От, спасибо! Сто раз спасибо! Сейчас доверенность напишу...

С тех пор на стене в ее комнате сменился не один календарь.

С тех пор ее стало трудно застать дома: то она на станции, то она на базе, то она едет в Новоалтайск, «выколачивает» разрешение на списанные рельсы для строительства бани в Козюле.

С тех пор что ни год, все чаще обращаются к ней оба председателя. Жизнь в колхозах развивается, растут запросы людей. Сколько веков обходился без бани алтаец? А вот поди ж, строят в Козюле баню, каменную, просторную, чтобы помимо предбанника, мойки, парной, буфет был и парикмахерская.

И скотные дворы капитально строят... Кирпич нужен, перекрытия нужны, шифер, краски, гвозди. Все это в Бийске, где железная дорога, где одних кирпичных заводов четыре.

И летят из Горного Алтая в Бийск, на проспект имени Кирова телеграммы: «Панковой Марии Михайловне. Получили сохранности уточни сеялки...»

— Ну, друзья! — говорит Мария, не то сердясь, не то восхищаясь такой напористостью. — «Уточни». Знаем мы это «уточни»!

И спешит на станцию.

А ночью страшно болит поясницу, отнимаются руки, перехватывает дыхание. Она отыскивает таблетки, глотает. Потом поднимается, идет в кухню, садится у окна на диванчик, сделанный на манер зилковского сиденья, и ждет утра. До чего же длинные ночи у пенсионеров! Длинней, чем на Ине, когда просыпалась от каждого шелота.

Удивительно длинные ночи!

Электронная библиотека «Сибирский Дом Книжки» elib.siblib.ru

ПЕРВЫЕ КНИГИ

В прошлом году в Барнауле вышли две книги молодых прозаиков: повесть «Шумят обские плесы» А. Воейкова* и сборник рассказов «Чепин, убивший орла» Е. Гущина.** Эти произведения сближает не только то, что их авторы начинающие писатели. Обе книги написаны на актуальную тему — охрана родной природы и умножение ее богатств.

Злободневность повести А. Воейкова «Шумят обские плесы» и то значение, которое она имеет в борьбе за сохранение природы, были отмечены в рецензии М. Стеклова «С гражданской страстью», опубликованной в газете «Алтайская правда» 29 ноября 1969 года.

Что же взволновало А. Воейкова, автора этой книги? Судьба великой сибирской реки Оби с ее рыбными богатствами, к которым проявляется неразумное, неправильное отношение со стороны отдельных хозяйственников и которым наносят большой ущерб браконьеры. Былая слава Оби с ее, казалось, неисчерпаемыми запасами рыбы померкла. А давно ли было время, когда о богатствах сибирских рек, в том числе и Оби, все говорили с гордостью? Давно ли было, когда один из героев книги М. Горького «Жизнь Клима Самгина» — большевик Дмитрий Самгин, сосланный на север, говорил: «Там насчет овощей — слабо, и мясо — редкость, даже оленье. Все — рыба, рыба. И погода там рыба, сухопутному человеку обидно: на земле — болота, сверху — дождь. И грибы, грибы... Речка Сосьва — это просто живорыбный садок. А в сорока верстах — Обь, тоже рыбе царство...» С тех пор прошло несколько десятков лет, и обские воды обеднели.

А. Воейков показывает в своей повести тех, кто бездумно хозяйничает на Оби, не заботясь о сохранности и увеличении ее рыбных запасов. Управляющий трестом Чернов в погоне за производственными успехами применяет недозволенные средства лова рыбы и идет на прямое очковтирательство, используя не по назначению средства, отпущенные на мелиоративные работы.

С тем, что делает Чернов, не может примириться молодой ихтиолог Георгий Старцев, направленный на работу в трест после окончания университета. Между ними начинается острая борьба, которая составляет основное содержание повести.

В образе Старцева, главного героя книги, автор раскрывает ряд характерных

* А. Воейков. Шумят обские плесы. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1969, 140 стр.

** Е. Гущина. Чепин, убивший орла. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1969, 72 стр.

черт нашего молодого современника: любовь к родной природе, заботу о ее настоящем и будущем, высокую ответственность за порученное дело, честность, принципиальность.

Но не так проста задача нарисовать яркий типичный образ представителя нашей молодежи. И понятно, что в первой книге автору не все удалось.

Наиболее существенные недостатки образа Старцева состоят в том, что автор не сумел показать своего главного героя решительным, способным глубоко аргументировать свои предложения в спорах с Черновым, не наделил его подлинным чувством коллективизма, стремлением опереться в своей деятельности на помощь и поддержку общественных организаций, производственного коллектива.

Вот первое серьезное столкновение Старцева с Черновым. Управляющий обрушился на Старцева за то, что он составил акт на рыболовческую бригаду, в котором отмечено: «За применение малочейстых сетей и облов нерестилищ пятьдесят процентов добытой за путину рыбы из плана бригады исклочить. За отлов осетров взыскать пятьдесят рублей, поделив сумму на каждого члена бригады». Чернов не поддерживает справедливого решения ихтиолога, ибо видит в этом препятствие для выполнения плана руководимого им треста. «Мальчишество... — говорит Чернов. — Я не собираюсь защищать чугуевцев, но как все это выглядело? Приехал, порезал сети и убежал. А управляющий расхлебывай, как знаешь?!»

Вот здесь-то у автора и была возможность ярко, глубоко противопоставить ошибочным взглядам Чернова ясную, научно аргументированную позицию Старцева, защищающего общественные интересы, нарисовать выразительную картину столкновения двух противоположных характеров, дать динамичный диалог, в котором бы был нанесен разрушительный удар по узковедомственной позиции Чернова, расходящейся с интересами народа. Но вместо этого автор заставляет своего главного героя произносить по существу общие, декларативные фразы: «Я могу поверить, что где-то там, наверху, в управлении, сидит дурак. Но это не так страшно. Трудней рассмотреть подлость в человеке неглупом. Предположим второе. Тогда нужно найти причину... — Георгий говорил о том, что он не может молчать, не имеет права, потому что нет у человека более надежного и святого, чем земля, кормящая его, и ей надо помочь... надо возродить реки и озера, чтобы они снова стали и чистыми, и обильными».

Читаешь эту главу о столкновении Старцева и Чернова и невольно вспоминаешь конфликт между Вихровым и Грацианским в романе Л. Леонова «Русский лес». С каким мастерством, с какой силой этот выдающийся советский писатель выписывает сцену столкновения между подлинным защитником русского леса Вихровым и псевдоученым Грацианским! Речь, конечно, идет не о том, чтобы А. Воейков подражал Л. Леонову, копировал его приемы, а о том, чтобы богатый опыт советской литературы, достижения мастеров социалистического реализма становились достоянием молодых писателей, способных воспринимать и развивать все лучшее, что завоевано классиками советской прозы.

В дальнейшем автор также уводит Старцева в сторону от активной борьбы с Черновым. Вот совещание в управлении, на котором с докладом выступает Чернов. Старцев со многими положениями докладчика не согласен, однако он не произносит на этом совещании ни слова. Автор ограничился лишь тем, что передает размышления Старцева, пассивно созерцающего все, что происходит вокруг него: «Чего ждали они от него, от этого совещания? Вокруг Георгия стоял гул. Все здесь происходящее казалось ему видимостью, прикрывающей пустоту. Откуда такое небрежение? Доносившиеся отрывки чужих фраз не перебывали его мыслей. Он легко мог представить, как эти люди отдадут земле все, что могут отдать. Из недр человечества идет эта всепобеждающая тяга. За великий труд земля вознаграждала человека своими щедротами. Река же отдавала богатства даром. Дармовой промысел. Это как ржавчина. Никто не посмел бы бросить свою пашню даже в самую страшную засуху. Оскудевшие реки,

озера, которые веками кормили человека, остались без внимания. И только потому, что реки эти и озера не могут больше даром делиться своими богатствами...»

И даже тогда, когда Чернов по существу избавился от ихтиолога, посыл его в командировку «в Рябиновку для организации работ по зарыблению водоемов», Старцев не проявил решительности, ничего не предпринял, чтобы отстоять справедливое дело, за которое он начал бороться. Старцев понял маневр управляющего трестом, но дальше этого не пошел. Председатель колхоза Пономарев говорит ему: «Так это он тебя, выходит, от работы отстранил», на что Старцев отвечает: «Конечно, чтобы под ногами не путался. На реке рыба пошла».

В последующих главах автор показывает, как Старцев принимает участие в строительстве плотины и дороги в Рябиновке, как он пытается захватить на реке браконьеров — бакенщика Петра Исаевича, колхозного учетчика Филиппа Свечникова. Один из браконьеров, Филипп Свечников, случайно зацепившись за собственный самолет, был выброшен из лодки и утонул, а на Старцева пало подозрение, что он убил браконьера. Чернов, воспользовавшись этими обстоятельствами, решил окончательно расправиться со Старцевым, дав следствию отрицательную характеристику на него. И если бы не помощь Пономарева, вряд ли Старцеву удалось бы доказать свою невиновность. Читатель расстается со Старцевым в тот момент, когда тому приходится отвечать на вопросы следователя. Старцев подавлен, настроен пессимистически. Вот как автор рисует своего главного героя в конце повествования: «С реки послышался басовитый гудок теплохода. Георгий вспомнил текст телеграммы, полученной на днях от Чернова: «Буду первым рейсом, есть практические вопросы, встречай пристани». Он почему-то представил, как важно стоит Чернов на верхней палубе, в форменной фуражке с крабом, и, лениво облокотившись о борт, обстоятельно рассказывает какому-нибудь пассажиру о своей нелегкой работе. На будущий год придет новый специалист, и все начнется сначала: первый рейс, знакомство с рыбаками, уха... Каким он будет, этот новый? Притрется, смирится? В чем, собственно, его ошибка? Донкихотствовал, не сумел убедить людей?..»

Финал судьбы главного героя повести с его безнадежными раздумьями о себе, о перспективах охраны природы и использования ее богатств довольно мрачен. Если в начале книги читатель с интересом следит за жизнью и борьбой Старцева против Чернова и всех, кто его поддерживает, то, закрыв последнюю страницу, испытывает чувство огорчения и досады. Автор не увидел в жизни настоящего героя, наделенного не только добрым и честным сердцем, но и волей, страстью, убежденностью, верой в победу справедливого дела. Старцев в конфликте с Черновым по воле автора по существу остался одиночкой, обреченным с самого начала на неудачу. Писатель даже не упомянул о партийной и других общественных организациях, как будто их и не было ни в управлении, ни в тресте, ни в рыболовецких бригадах. Даже старые рыбаки, которые поняли, что нужно бороться за чистоту рек, за сохранение и умножение в них рыбы, показаны пассивной силой, возлагающей все надежды на героя-одиночку. Вот, например, как выглядит в повести дед Прошка, выбранный впоследствии бригадиром. После того, как Старцев наказал рыбаков за браконьерство, дед Прошка говорит ему: «Ну, спасибо, выучил нас, внукам закажем. И денежку сдернул, ничего, уплатим. Только теперь, мил человек, и твой черед... Заступись за реку. От всех рыбаков тебе низкий поклон будет».

Жизнь богаче и сложнее, чем она показывается во многих произведениях, в том числе и в повести А. Воейкова «Шумят обские плесы». В производственных коллективах, и у обских рыбаков тоже, возникают сложные конфликты между новым и старым. Носителями передовых идей становятся и люди старшего поколения, и те, кто только приходит в тот или иной производственный коллектив. Но сколько произведений — к ним относится и книга А. Воейкова, — в которых зачинателем нового и основным борцом за него показывается молодой специалист, только что приступивший к работе

после окончания высшего учебного заведения! Новичок пришел в коллектив, мгновенно узрел все ошибки и недостатки, развертывает активную борьбу с носителями пороков, которыми чаще всего являются руководители. Но не пора ли отойти от такого шаблонного подхода к изображению нашей действительности? Не правильнее ли поискать героя не только среди тех, кто лишь начинает трудовой путь, но, как это чаще бывает в жизни, и среди тех, кто имеет богатый опыт, кто хорошо видит и знает сложные проблемы, кто имеет способности и волю отстаивать новые идеи, новые методы, новые позиции, соответствующие современным задачам строительства коммунизма?

Если А. Воейков в повести «Шумят обские плесы» затронул острые проблемы охраны алтайских водоемов и их рыбных запасов, то Е. Гушина в сборнике рассказов «Чепин, убивший орла» основное внимание сосредоточил на охране алтайских лесов и их обитателей.

Героями рассказов Е. Гушина являются простые люди, влюбленные в леса, зверей, птиц. С одним из них читатель встречается в первом же рассказе — «Глухариная почва». Автор с тонким поэтическим чувством показывает лесника Николая Краева, который десять лет несет свою службу на нелегком посту. С душевной теплотой он рассказывает приехавшим из города журналистам о глухарях, о лесах, о том, как он трогательно заботится о разведении алтайских кедров.

Любит свое дело Николай Краев, крепко прирос к родной земле, которую украшает собственными руками. Эти характерные черты своего героя автор раскрывает в коротком и выразительном диалоге Николая Краева и журналистов, отправившихся в горы, чтобы посмотреть и сфотографировать глухарей во время тока. «Вон старая засохшая лиственница. Видите? — горячо зашептал Николай. — Возле нее пролетели глухари. Парочка». Мы поглядели на лиственницу, но ажурная паутина ее ветвей была прозрачной. «Может, не прилетят больше?» — заопасались мы. «Прилетят, куда денутся, — успокоил лесник. — Они тут всегда токуют. До двадцати штук иной раз собирается». — «А если на этот раз другое место найдут для тока? Лес-то большой, полян вон сколько». — «Лес-то, верно, большой, — сказал со значением Николай, и почти сердито, — да только у каждой птицы, зверя свое любимое место. Красившесть, а роднее — нету. Где первое гнездо или нора — там и дом... Да что птица... Возьми человека... К примеру Баранчу нашу... Я ведь баранчинский. Мать здесь родилась. Отец местный... В сорок втором сюда, в Баранчу, на сельсовет бумага пришла. Там написано, как отец по-геройски, значит, погиб... Ну, ладно, выжили мы. Я на маслозавод поступил. Женился, дети пошли. Потом в армию взяли. Отслужил. В партию вступил. Вишь, как все у меня с Баранчой связалось. Каждый кустик знаю, и он мне родной...» — махнул рукой. Замолчал, выглянул паружу в сиреневый рассвет. Долго смотрел и вдруг нырнул обратно, горячо зашептал: «Вон они, голубчики. А вы сомневались. Сидят на той самой лиственнице. Не нашли, значит, места краше... Вот и мне не найти...»

В рассказе «Солнцеворот», который является одним из лучших в сборнике, автор создает образ пятнадцатилетнего Егорки, не знающего в борьбе с браконьерами ни страха, ни компромисса, ни примирения. Корчной, его отец, которому показалось подозрительным, что «над Лисьем бродом воронье кружит», послал Егорку в лес. Сын выследил браконьера Ободкова, убившего лося. Вот мальчик несколько растерян: «Может, вернуться домой? Отец же не велел лезть на рога... Скажу, дескать, видел следы раненого лося... Вместе с отцом пойдем... С ним не страшно...» Но Егорка не мог повернуть назад — ведь браконьер уйдет, и он себе этого никогда не простит. И Егорка, как настоящий егерь, проявив находчивость, ловкость и мужество, задержал браконьера, отобрал у него ружье. Не помогли ни уговоры, ни угрозы, ни попытка шантажа: Ободкову было известно о неблагоприятном поступке отца мальчика. Егорка остался верным своему долгу.

Егорка не простил не только Ободкова. Он не простил и отца, когда тот при-

знался, что действительно когда-то в прошлом убил лося. Как же так: чтобы егерь, призванный охранять диких животных, мог стать браконьером! Этого мальчик не может принять. Отец говорит сыну: «Ну, будет, будет... Не надрывай сердце. Жизнь-то длинная... Хватит еще горького...» Егорка как окаменел. «Может, я сердцем убил из-за того лося». — совсем тихо сказал Корчной, себе будто признавался. «Не могу, батя, — тихо сказал сын. — Не могу».

Старый егерь, может быть, и не думал, что когда-нибудь ему придется держать перед своим собственным сыном ответ за убитого лося. Но, как и бывает в жизни, рано ли, поздно ли, расплачиваться приходится каждому, кто нарушил законы нашего общества. Это неизбежно, как неизбежен солнцеворот, когда, как говорят в народе, «солнце на лето, а зима на мороз поворачивают». Этим метким народным выражением автор емко выразил сущность нашей жизни: все доброе в ней растет, побеждает, а все злое, что мешает новому, отступает, умирает.

Е. Гущина привлекают герои с сильным характером, которые не боятся препятствий, не теряют мужества в минуты смертельной опасности, могут сурово и справедливо судить себя перед собственной совестью. Таким автор показывает старого егеря Ивана Сергеевича Корчного в рассказе «Один на один».

Корчной всю жизнь провел в лесу, промышляя зверя. Ему уже около шестидесяти лет, а он собирается на охоту, чтобы добыть медвежью шкуру, которую хочет купить у него Эдик, один из городских охотников. Сын отговаривает его: «За тебя опасаясь... Годы у тебя... Рискованно». — «Эх, милый... — усмехнулся отец. — Рискованно. Ежели жить без риска, то и жизнь такая не нужна». От леса, от его любимого занятия его ничто не может оторвать, даже старость. «Я в лесу себя человеком чувствую. — говорит Корчной. — Лесной я человек. Родился в лесу, вырос в лесу и помереть в лесу суждено».

Встреча старого егеря с медведем в зимней тайге оказалась последней и роковой. Разъяренный зверь, потревоженный в берлоге, бросился на охотника. Корчной успел уложить его двумя выстрелами в упор, несмотря на то, что сам, отскакивая в сторону, сломал ногу. Охотник оказался придавленным многопудовой тушей медведя, и никто ему не мог помочь. Эдик, который пошел с Корчным на охоту, чтобы сфотографировать медведя, трусливо убежал, как только почувствовал опасность, обрекая старого егеря на верную гибель.

Корчной замерзает. Он понимает, что наступает неизбежный конец. Но сколько силы духа и мужества он проявляет в эти последние часы! Он вспоминает прошлые годы. Раньше он думал, что жизнь его была «никудышной» и «беспросветной». Но теперь он понял, что она «не такой уж плохой оказалась. Были радости, да не умел замечать». Корчной уходит из жизни, но сколько таятся в его сердце доброты к людям! В последние минуты он успевает еще раз подумать: «А Эдька-то, подлец, убежал... Уж медвежья шкура не нужна, свою бы унести целой. Взглянуть бы по следу, куда побег. Хоть и пустой человекиска, а жаль, если сгинет. Детишки у него...» Свои охотничьи лыжи, на которые он «весь выложился», он хочет оставить своему сыну, образ которого возникает в его затухающем сознании. «Ты, Егорушка, — говорит он ласково, — возьми мои лыжи... Таких ни у кого нет. Мне за них двустовку давали...» И как в последний час жизни душевная красота Корчного гармонирует с красотой природы! «Он обвел глазами все видимое пространство, — пишет автор, — и окружающее показалось торжественно-красивым. Все привычное, до боли знакомое с детства, было, оказывается, красивым. А ведь не замечал этого раньше... Теперь же егеря самого поразили сочность и мягкость красок, богатство оттенков, какие не способен написать ни один художник.» Так автор открывает в простом человеке могучую духовную красоту, которая в обыденной жизни бывает незаметной.

В лучших рассказах Е. Гущина проявляется характерная особенность его писательского дарования — умение тонко, ненавязчиво выражать основной смысл произ-

ведения. Вот возник конфликт между сыном и отцом (рассказ «Чепин, убивший орла»). Отец — знатный чабан Горного Алтая — хочет, чтобы его сын Петька тоже стал чабаном, но тот мечтает быть кинемехаником. Как ни бьется Чепин-старший, а ничего не может поделаться с Чепиным-младшим.

«Поумнеть бы тебе, Петька... — говорит отец. — Примета есть такая... Древняя примета. Кто убьет орла, у того желание исполнится...»

Отец убил орла. Но исполнилось ли его желание? Вот как автор заканчивает свой рассказ: «Орел смотрел уже не на людей, а мимо — в небо. В его незакрытых глазах плыли белые точки. Петька наклонился. В глазах птицы еще жили облака, но ветер шевелил уже мертвые перья. Отец подумал и перевернул ногой хищника. Обернулся: «Помнишь? Кто орла убьет...» — и снова укололся о твердые Петькины глаза. Остро, отчетливо увидел: у сына крепкий подбородок, выдвинутый вперед, как у него самого. Стояли глаза в глаза. Отец первый отвернул: «Чего стоишь, — сказал глухо, — видишь, овцы разбежались... собрать надо...»

Автор не пишет прямо, что старый чабан отступился от сына, что Петька добьется осуществления своей мечты, но что так будет, читатель не сомневается. Об этом говорят и «твердые Петькины глаза», и его «крепкий подбородок», и его непреклонность, и растерянность отца...

Но не во всех рассказах Е. Гушин достигает художественной выразительности и убедительности. Например, рассказ «Трое против чудака» отличается эскизностью, схематичностью. Шофер Лешка, герой этого рассказа, проявил недобросовестность в работе, совершил аварию, в результате которой погубил целую цистерну бензина. У него не хватает смелости отвечать за свой поступок, и он готов чуть ли не в петлю лезть. Из беды его выручил комсорг Вася Савельев, который отремонтировал цистерну и помог собрать у товарищей талоны на тысячу литров бензина для Лешки. С этих пор Лешка резко изменился, стал отличным работником, женился на брошенной женщине, на руках которой остался пятилетний ребенок. Он изучает иностранный язык, мастерит аэросани... Эти перемены в Лешке всем кажутся удивительными и непонятными, за что его и стали называть «чудаком». Сам же Лешка объясняет это так: «Васька Савельев уволился и уехал... Лицо его стал забывать. А вот душу — не могу. И не забуду. Мне тоже захотелось для людей что-то хорошее сделать».

Но не так просто происходит ломка характера человека, как это показывает автор. Ему явно не хватило ни глубины психологической разработки поставленной проблемы, ни умения убедительно аргументировать перерождение своего героя.

И А. Воейков и Е. Гушин сделали решительный шаг в литературу, выпустив первые книги, в которых по-своему поставили острую проблему, обозначенную двумя словами: природа и человек.

Как показывает практика, в литературе нелегко сделать первый шаг. Еще труднее сделать второй, потому что от начинающего писателя потребуются не только глубокое знание жизни, всестороннее изучение материала, собираемого для будущей книги, но и трезвая оценка того, что им уже написано, способность твердо, решительно идти вперед, преодолевая ошибки и недостатки.

Пусть же второй шаг А. Воейкова и Е. Гушина на избранном ими трудном пути окажется удачным и успешным!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

Владислав КОЗОДОЕВ

СТИХИ О ДЖАКАРТЕ

...Мы трое суток колесим по Яве.

В. Казаков.

Наш боцман самых строгих правил.
Когда не в шутку закутил,
Он мыть гальюн меня заставил,
А вот в Джакарту не пустил.
Я был салагою несмелым,
Его послушаться не смел.
Зато Джакарту между делом
В иллюминатор рассмотрел.
О, что я видел, боже правый!
Поверьте, среди бела дня
Джакарта слева, Джакарта справа,
Джакарта прямо на меня!
Там покупают все, что можно,
И все, что можно, продают.
Там за твою неосторожность
Тебя, как липку, обдерут.
А нищета, а ветхость хижин,
А красоты какой оскал!
Поверь, читатель, очень хищен
Любой на свете капитал.
И я глядел, забыв о деле,
На явь такую без прикрас.
...Когда глядеть мне надоело,
Со злостью сплюнул в унитаэ.

МОЛЧАНИЕ

...Я вижу некто подлость совершает,
Я вижу это ясно, но молчу.
...Ах, вдохновенье — перышко Жар-птицы!
В какие ты упрятаю тряпицы?

Г. Кондаков

Болтают все, жена моя болтает.
А я молчать хочу.
Я вижу: некто подлость совершает,
Я вижу это ясно, но молчу.
Молчанье золото, а что еще мне надо?
На медяки меняться не хочу.
Как три ряда на митинге в Канаде,
Как сфинкс, как баба скифская, молчу.
Молчу, молчу, а если стану злиться,
Пойду на свалку мусора, чудак.
Там вдохновенье—перышко Жар-птицы—
Упрятаю в изодранный армяк.

ЗАЧЕМ-ТО

...Любимые, хорошие, родные,
Скажите, кто я, что я и зачем?
...Кто там бродит и шепчет, робея,
То ли я, то ли ты, то ли кто?
...Что ему то, что когда-то
Кто-то зачем-то куда-то.

Л. Мерзликин.

Было. На озере цапля
Вдруг лягушонка как цапнет.
И проглотила...

А впрочем,
Я объясню покороче:
Как-то за что-то когда-то
Кто-то кого-то куда-то.

ОТЧИМ

...Они, как дети, жить хотят,
Я, как отец, за них боюсь.
...Иду, спешить мне ни к чему.
Я не спешить предпочитаю.

В. Слепенчук.

Как конь овес, как кот котят,
Люблю я собственные строчки.
Они отточены до точки
И, словно дети, жить хотят.
Ах, что же сделал я, прохвост!
Рвану в отчаяньи рубаху:
В газету, будто бы на плаху,
Вчера детей своих отнес.
За что казнил их? Не пойму...
Сижу и новые кропаю.
Писать мне, может, ни к чему,
Но я писать предпочитаю.

БОРИС АНДРЕЕВИЧ КАУРОВ
(1924—1970)

Умер Борис Андреевич Кауров, поэт, чье творчество неразрывно связано с Алтайским краем, его людьми, его природой, его историей.

Борис Андреевич родился в крестьянской семье, в бурятском селе Малый Куналей. Семнадцати лет ушел добровольцем в Советскую Армию. Участвовал в Великой Отечественной войне, удостоен шести боевых наград. В военной печати появились первые произведения Бориса Каурова — стихи, очерки.

Десять наиболее плодотворных для его творчества лет Борис Андреевич прожил на Алтае. Это были годы мужания его поэтического дара. Борис Кауров создает стихи и поэмы о покорителях целины, о первых коммунарах, об алтайских партизанах — бесстрашных борцах за власть Советов.

Певец поиска, подвига, певец палаточных городов и негаснущих костров, Борис Кауров обладал голосом ясным, сильным, волнующим. Одна за другой в Москве, Новосибирске, Барнауле выходили книги его стихов, прославляющих романтику труда и созидания. Особенно тепло встретили любители поэзии поэтические сборники Бориса Каурова «Костры не гаснут», «Разговор с дождем», «Звезды на холмах», «Уходящим на Восток», «Цветы и снег». Произведения поэта широко публиковались в периодической печати — в журналах «Октябрь», «Нева», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «Огонек», альманахе «Алтай», в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Советская культура», «Труд» и других.

Борис Кауров издал документальную повесть «Проселки выходят на большак», посвященную знатым хлеборобам Алтая Александру Беккеру и Николаю Буханько, большой очерк «Жизнь для людей» — о трудовом пути известного деятеля колхозного строительства на Алтае Федора Митрофановича Гринько.

Человек подлинного дарования, щедрого сердца, Борис Андреевич Кауров рано ушел от нас. Но его произведения, его полные лирического горения стихи остаются в строю, зовут в те края, где дороги еще негладки, где горят на степном ветру и согреваются от таежного холода первые костры.

Группа товарищей.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай ЧЕБАЕВСКИЙ. Колдунья. Повесть	3
Леонид МЕРЗЛИКИН. Стихи	80
Виктор СИДОРОВ. Лошадка. Рабочий человек. Рассказы	83
Виктор ПОПОВ. На шестом повороте. Рассказ	89
Александр ТРЕСКОВ. Зубы ноют. Рассказ	97

ЛЮДИ НАШИХ ДНЕЙ

В. ГУСЕЛЬНИКОВ. Звезды над озером. Очерк	104
Юрий КОЗЛОВ. Длинные ночи. Очерк	122

ЧИТАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, КНИГИ

И. КАЗАНЦЕВ. Первые книги	129
-------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

Владислав КОЗОДОЕВ. Стихи о Джакарте. Молчание. Зачем-то. Отчим	135
--	-----

Электронная библиотека АКУНБ, elilib.altlib.ru

Художественный редактор В. Раменский
Технический редактор М. Сафонова
Корректоры А. Дмитриев, В. Раттасеп

Сдано в набор 6. IV. 1970 г. Подписано к печати 4. VI. 1970 г.
Формат 70×84/16. Бумага тип. № 3. Усл. п. л. 9,53. Уч.-изд. л.
9,47. Тираж 5000 экз. АГ 00309.

Алтайское книжное издательство — Барнаул, Ленина, 76.
Заказ № 1080. Типография № 1 Управления по печати —
Барнаул, Л. Толстого, 29. Цена 40 коп.



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цена 40 коп.

Электронная библиотека АГУНБ, elib.agunb.ru